

Юрген Хабермас

ТЕМА

Расколотый Запад

ВСЕ
МИР

Расколотый Запад





ТЕМА

Юрген Хабермас

Расколотый
Запад

ВЕСЬ
МИР

Москва 2008

УДК 327
ББК 66.2(0)
X 12

Перевод с немецкого *О.И. Величко* и *Е.Л. Петренко*

Научный редактор *Е.Л. Петренко*

Редактор *М.М. Беляев*

КНИГА ИЗДАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ИНСТИТУТА им. ГЁТЕ

Хабермас Ю.

X 12 Расколотый Запад / Пер. с нем. — М.: Издательство «Весь Мир», 2008. — 192 с.

ISBN 978-5-7777-0400-9

Одна из последних книг известного немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса (р. 1929) продолжает ряд его работ, посвященных анализу наиболее актуальных политических проблем современности.

Центральными темами вошедших в эту книгу статей и интервью стали террористическая атака в США 11 сентября 2001 г. и ее последствия; новый облик международного терроризма; война в Ираке, кризис ООН и международного права перед лицом «гегемониальной» политики США — как главной причины «раскола Запада»; проблемы дальнейшего объединения Европы и ее место на мировой политической арене; процессы глобализации и различные перспективы нового мирового порядка.

На русский язык книга переведена впервые. Суждения одного из самых видных европейских интеллектуалов, несомненно, будут интересны российским читателям.

УДК 327
ББК 66.2(0)

Перевод книги на русский язык выполнен по изданию:
Habermas Jürgen. Der gespaltene Westen. Kleine politische Schriften.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2004
© The University of Chicago Press (*G. Borradori*)
«Fundamentalism and Terror: A dialogue with
Jurgen Habermas» in PHILOSOPHY IN A TIME
OF TERROR: DIALOGUES WITH JURGEN
HABERMAS AND JACQUES DERRIDA, pp.
25–44.

ISBN 978-5-7777-0400-9

Содержание

Предисловие	7
I. После 11 сентября	9
1. Фундаментализм и террор	9
2. Что значит разрушить памятник?	29
II. Голос Европы в многоголосье ее наций	39
3. 15 февраля, или Что связывает европейцев	39
<i>Коварство европейской идентичности.</i>	43
<i>Исторические истоки политического</i> <i>профиля Европы</i>	46
4. Может ли ядро Европы выступать в роли неприятеля? Ответы на вопросы	48
5. Немецко-польские реалии	55
6. Нужно ли формировать европейскую идентичность и возможна ли она?	62
III. Взгляд на хаотичный мир	77
7. Интервью о войне и мире	77
IV. Кантовский проект и расколотый Запад	103
8. Есть ли еще шансы для конституционализации международного права?	103
Введение	103
I. Политически устроенное мировое общество против мировой республики	106

1. Классическое международное право и «суверенное равенство»	106
2. Мир как импликация закономерной свободы	110
3. От государственного права к праву гражданина мира	112
4. Почему возник «суррогат» союза народов?	116
5. Дезориентирующие аналогии «естественного состояния»	118
6. Государственная власть и конституция	122
7. Мировая внутренняя политика без мирового правительства	124
8. Супранациональная конституция и демократическая легитимация	128
9. Встречные тенденции	133
II. Конституционализация международного права или либеральная этика мировой державы	136
1. История международного права в свете актуальных вызовов современности	136
2. Власть нации — Юлиус Фрёбель до и после 1848 года	140
3. Кант, Вудро Вильсон и союз народов	144
4. Устав ООН — «конституция международного сообщества»?	148
5. Три инновации в международном праве	152
6. Два лица «холодной войны»	157
7. Амбивалентные 1990-е годы	160
8. Реформа: что стоит на повестке дня	164
9. Постнациональная констелляция	167
III. Альтернативные видения нового мирового порядка	171
1. Разворот в политике США по вопросам международного права после 11 сентября?	171
2. Изъяны гегемонального либерализма	175
3. Неолиберальная и постмарксистская конструкции	178
4. Кант или Карл Шмитт?	181

Предисловие

Запад расколола не угроза международного терроризма, а политика нынешнего правительства США, игнорирующая международное право, ставящая ООН на грань кризиса и разрывающая связи с Европой.

В игре задействован и кантовский проект преодоления «естественного состояния» [вражды] между государствами. Менталитеты разделились, дистанцию определяют не различия в базовых политических целях, а отношение к величественным усилиям человеческого рода достичь состояния цивилизованности. Об этом должна напомнить титульная статья книги.

Раскол прошел, правда, и через Европу, и через саму Америку. В Европе он вызывает тревогу прежде всего среди тех, кто долгие годы осмысливал свою жизнь в соответствии с лучшими традициями США — истоками политического просвещения 1880 года, мощным импульсом прагматизма и возрождением интернационализма после 1945 года.

В Германии неприкрытый отход от этих традиций послужил своего рода лакмусовой бумажкой. Сегодня мы наблюдаем распад химического соединения, из которого выкристаллизовывалась западная ориентация ФРГ со времен Аденауэра, в обоих его элементах: продуктом распада стало очевидное несоответствие оппортунистического приспособления к гегемониальной державе, под ядерным щитом которой Европа пережила «холодную войну», той интеллектуальной и нравственной связи с принципами и основополагающими убеждениями западной культуры,

благодаря которой, строго говоря, и оформилось нормативное самосознание ФРГ, ставшей в итоге либеральным государством.

Я хотел бы напомнить и об этих расхождениях. Исследование процессов конституционализации международного права дает мне повод соединить опубликованные в разное время работы, чтобы подчеркнуть связь этой проблематики с целью объединения Европы.

Штарнберг, январь 2004 г.

Юрген Хабермас

I. После 11 сентября

1. Фундаментализм и террор*

Вопрос. Считаете ли вы события, которые все мы сегодня обычно называем «11 сентября», беспрецедентными – в том смысле, что они радикально изменили наше самосознание?¹

Ю. Х. Позвольте мне сразу сказать о том, что на ваш вопрос я уже отвечал примерно месяца через три после событий 11 сентября. Лучше вернуться к моим впечатлениям, ставшим фоном для оценки. С начала октября я провел в Манхэттене около двух месяцев. И должен признаться, что чувствовал себя в этот раз бóльшим чужаком, чем обычно, в «столице XX века», которой так восхищался на протяжении трех десятилетий. Атмосфера изменилась, и не только из-за патриотизма «*United we stand*»**, реющего наподобие знамени и в чем-то противоестественного, не только из-за непривычного стремления к солидарности и, как следствие, чувствительности к любому, пусть и мнимому, «антиамериканизму». Казалось, удивительно открытый менталитет американцев подернулся флёром легкого недоверия — куда-то ушло американское великодушие по отношению к чужим, обаяние готовности

* Впервые опубликовано в: *Blätter für deutsche und internationale Politik*. Februar 2001. S. 165–178; сноски, обозначенные звездочками, сделаны переводчиком и редактором.

¹ Это интервью в декабре 2001 г. провела Дж. Боррадори, преподаватель философии в Vassar College.

** «Объединенные, мы выстоим» (англ.).

к дружескому объятию, иногда сознательно нацеленному на объединение. Вряд ли мы можем безоговорочно судить — мы, которых не было там в эти дни. С критикой нужно быть поосторожней тем, кто, как и я, наслаждался у своих американских друзей беззаботным *record**. С началом интервенции в Афганистан вдруг стало заметно в политических дискуссиях, что европейцы остались наедине с собой (ну еще израильтяне).

С другой стороны, на месте я ощутил всю тяжесть события. Ужас от этого буквально свалившегося с неба кошмара да и сама атмосфера злодеяния ощущались совершенно иначе, чем дома, как и депрессия, охватившая город. Каждый из друзей и коллег вспоминал о том, что происходило с ним в то утро в 9 часов с минутами. Короче, на месте я мог лучше чувствовать это настроение судьбоносности, если говорить словами вашего вопроса. И среди левых распространилось это сознание поворотного пункта, пережитого всеми. Я не знаю, проявила ли власть что-то подобное паранойе или просто робость перед ответственностью. Но в любом случае повторяющиеся объявления о новых террористических ударах и бессмысленные призывы — «*be alert*»** — только усиливали неприкрытый страх и диффузное состояние тревоги, «готовность» к ней — т. е. именно то, что входило в намерения террористов. В Нью-Йорке люди, казалось, приготовились к самому худшему. И само собой разумеется, что дьявольским проискам Усама бен Ладена слухи приписывали и попытки заражения сибирской язвой (или авиакатастрофу в Квинсе).

На этом фоне вы должны понять мой скептицизм. Насколько важно для долгосрочного прогноза то, что мы, современники, воспринимаем мгновенно? Если террористическая атака 11 сентября (как думают многие) стала переломным событием «мировой истории», то она должна быть сопоставлена с другими событиями всемирного значения. Не с Пёрл-Харбором, но с событиями августа 1914 года. С началом Первой мировой войны закончилось мирное, в известной степени беззаботное (как видно теперь) время. Начался век тотальных войн, тоталитарного угнетения, механизированного варварства и бюрократического массового убийства. Но только в ретроспективе мы сможем узнать, было ли символическое разрушение цитадели капитализма в южном Ман-

* Прослушивание музыки (*англ.*).

** «Быть настороже» (*англ.*).

хэттене глубокой цезурой, или эта катастрофа всего лишь подтвердила таким бесчеловечно-драматическим способом давно уже осознанную уязвимость нашей сложной цивилизации. И если здесь не идет речь напрямую о Французской революции, — а ведь Кант тотчас назвал ее «знаковым событием истории», которое обнаружило «моральную тенденцию в развитии человеческого рода», — если здесь мы касаемся события менее однозначного, то только реальная история вынесет свой приговор касательно иерархии исторических событий.

Впоследствии, вероятно, можно будет определить важные тенденции, которые привели к событиям 11 сентября. Но мы не знаем, какой из многочисленных сценариев, написанных сегодня, нужен будущему. Умно выстроенная правительством США (правда, дорогая) антитеррористическая коалиция при благоприятных обстоятельствах может стать переходом от классического международного права к космополитическому правовому состоянию. Конференция по Афганистану в Петербурге, прошедшая под патронажем ООН, верно обозначила направление движения. По крайней мере, это обнадеживающий сигнал. Однако европейские правительства потерпели полную неудачу. Они явно неспособны видеть шире национальных рамок, а это нужно для того, чтобы по крайней мере укрепить свои европейские тылы против сторонников «жесткого курса». Правительство Буша, по-видимому, продолжает эгоцентрическую политику сверхдержавы практически без изменения. Как и раньше, оно выступает против введения института международного уголовного суда и полагается вместо этого на собственный военный трибунал, что противоречит международному праву. Оно отказывается подписывать конвенцию по биологическому оружию. В одностороннем порядке оно вышло из договора по ПРО и после 11 сентября абсурдным образом уверено в правомочности своих планов создать заградительный ракетный щит. Для такой прямолинейной установки современный мир слишком сложен. Даже если Европа еще не набралась духу играть выпавшую ей сегодня цивилизирующую роль, то новая поднимающаяся мировая держава — Китай и теряющая свое влияние Россия не станут безоговорочно смиряться с образцом *Pax Americana**. И вместо полицейских акций, на которые мы рассчитывали во время войны

* Мир по-американски (*лат.*).

в Косово, снова идут войны — войны, использующие новейшие технические средства и старые приемы.

Нищета в разрушенном Афганистане напоминает о картинах тридцатилетней войны. Конечно, существовало достаточно причин, в том числе и нормативных оснований, чтобы насильственно устранить режим талибов, жестоко эксплуатировавший не только женщин, но и все население. Талибы отказались выдать бен Ладена. Однако асимметрия между гигантской разрушительной силой ракет с электронным наведением, элегантно расчерчивающих небо, и архаической дикостью орд бородатых воинов, вооруженных автоматами Калашникова, на земле — остается своего рода моральной непристойностью. Это ощущается в полной мере только в тот момент, когда вспоминаешь о полной насилия колониальной истории, произволе географического расчленения и той инструментальной функции, которую выполняет эта страна в великодержавных играх. Но сегодня «Талибан» уже принадлежит истории.

Итак, наша тема — это терроризм, который после событий 11 сентября приобрел новое качество...

Новым является само чудовищное деяние. Я подразумеваю не только образ действий пошедших на самоубийство террористов, которые превратили заправленные «под завязку» самолеты вместе с находящимися в них заложниками в живое оружие, и даже не только ужасающее число жертв и драматический масштаб разрушений. Новацией стала символическая мощь целей, которые подверглись атаке. Террористы не только физически низвергли самые высокие небоскребы Манхэттена, они разрушили одну из икон в иконостасе сознания американской нации. Только поддавшись патриотическому порыву, можно примерить на себя те чувства, которые пробуждал этот силуэт Манхэттена, это воплощение экономической силы и воли к будущему в воображении целого народа. Новым было, конечно, присутствие телекамер и СМИ, тотчас превративших локальное событие в глобальное и сделавших население всего мира оцепенелыми свидетелями. Наверное, можно говорить об 11 сентября как о первом всемирно-историческом событии в строгом смысле этого слова: столкновение, взрыв, медленное обрушение — все, что произошло, уже не было продукцией Голливуда, но ужасной реальностью; и действие разверты-

валось буквально на глазах у мировой общественности. Один из моих коллег, который наблюдал с террасы на крыше своего дома на Duanestreet, совсем близко от *World Trade Center*, взрыв второго самолета, врезавшегося в верхние этажи здания, видит Бог, *пережил* что-то совершенно другое, чем я перед телевизором в Германии. Но *увидел* он все то же, что и я.

Очевидно, что размышления о конкретном событии не объясняют, почему терроризм необходимо приобретает новое качество. В этом контексте мне кажется важным следующее обстоятельство: фактически неизвестно, кто же враг. Личность Усама бен Ладена выполняет скорее представительские функции. На это указывает сравнение с партизанами или с «обычными» террористами (например, в Израиле). И эти люди сражаются, часто децентрализованно, объединяясь в малочисленные группы, автономно принимающие решения. И в этих случаях отсутствует концентрация боевых ресурсов или организационный центр, который находит легкие цели для атаки. Но партизаны ведут бои на определенной территории с ясной политической целью — захватить власть. Это отличает их от террористов, рассеянных по всему миру и связанных между собой в соответствии с принципами конспирации. Террористы позволяют нам уловить фундаменталистские мотивы в их действиях, но они не преследуют какой-то программной цели, выходящей за рамки деструкции и насаждения неуверенности. Терроризм, который мы однозначно связываем с Аль-Каидой, не позволяет идентифицировать противника и реально оценить опасность. Эта неуловимость и придает терроризму новое качество.

Конечно, неопределенность рисков и является сущностью терроризма. Но расписанные в деталях сценарии биологической или химической войны [их якобы вскоре начнут террористы], которые подаются в американских СМИ, спекуляции вокруг ядерного террора — все это указывает прежде всего на неспособность правительства определить по крайней мере иерархию масштабов риска. Никто не знает, чего можно ожидать. В Израиле известно, *что* может случиться, если поехать на автобусе, пойти в магазин, на дискотеку, в учреждение, — и *как это чаще всего* происходит. В США или Европе риски и опасности выделить очень трудно; отсутствуют реалистические оценки вида, масштаба и вероятности угрозы; нет никакого разграничения по возможным зонам (регионам) рисков.

Все это приводит к тому, что нация, которая напугана этими неопределенными угрозами и в состоянии реагировать на них исклю-

чительно средствами государственно организованной власти, в мучительной ситуации может ответить гиперреакцией, причем не зная — в силу недостаточности секретной информации спецслужб, — гиперреакция ли это. Следовательно, государству угрожает опасность скомпрометировать себя, продемонстрировав неадекватность своих средств [в борьбе с террором]. Не подходят ни милитаризация мер безопасности внутри страны, подрывающая нормы правового государства, ни мобилизация несоизмеримой и недейственной военной сверхмощи за пределами страны. Понятны мотивы предостережений о возможности *неопределенных* террористических ударов, которые министр обороны [США] Рамсфельд еще раз озвучил в середине декабря на Конференции НАТО в Брюсселе: «Если мы посмотрим на разрушения, которые [террористы] учинили в США, мы можем представить, что они могут натворить в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине с помощью атомного, химического или биологического оружия»². Несколько иной характер носят те необходимые, но действенные только в долгосрочной перспективе меры, которые правительство США предприняло сразу после атаки [11 сентября]: создание мировой коалиции государств против терроризма; действенный контроль за подозрительными финансовыми потоками и международными банковскими связями; создание информационных сетей спецслужб разных государств, а также координация соответствующих полицейских следственных действий в глобальных масштабах.

Если верно суждение, что интеллигент — это фигура с исторически специфическими чертами, то играет ли он какую-то особенную роль в нашем сегодняшнем контексте?

Я бы этого не сказал. Писатели, философы, специалисты по социальным и гуманитарным наукам, художники — все те, кто обычно отзываются,отреагировали и на этот раз. Обычные *Pro* и *Contra**, все тот же голосовой шум, приправленный известными национальными различиями в стиле и общественном резонансе, — они проявляются одинаково, идет ли речь о партии в гольф или о войне в Косово. Американские голоса прозвучали громче, чем обычно, и в ито-

² «Süddeutsche Zeitung» vom 19.Dezember 2001.

* За и против (*лат.*).

ге, наверное, более патриотично, более лояльно по отношению к правительству. Даже левые либералы, по-видимому, в значительной степени выразили согласие с политикой Буша. Позиция, высказанная Ричардом Рорти, как я понимаю, достаточно типична. С другой стороны, критики вторжения в Афганистан в своей прагматической оценке шансов на успех исходят из неверных прогнозов. В данном случае кроме отдаленных историко-антропологических знаний требуется еще компетентность в военных и геополитических вопросах. Конечно, я не хочу встать на позицию тех, кто отдает предпочтение антиинтеллектуализму и считает, что интеллектуалам никогда не удавались экспертные оценки. Если вы не являетесь специалистом по экономике, то проще ведь ссылаться в своих суждениях на сложность хозяйственных связей. Однако по отношению к военным делам интеллектуалы явно ведут себя точно так же, как и прочие «застольные» стратеги.

В своем выступлении в церкви Святого Павла [по случаю присуждения Премии мира Биржевого союза немецкой книготорговли, 14 октября 2001 г.] вы назвали фундаментализм специфически современным (moderne) явлением. Почему?*

Конечно, все дело в том, как мы хотим использовать тот или иной термин. «Фундаментализм» — звучит несколько уничижительно. Этим понятием мы обозначаем духовную установку, которая настаивает на политической реализации собственных убеждений и догм даже в том случае, когда они не воспринимаются (и не могут быть восприняты) как всеобщие. Это касается прежде всего религиозных истин веры. Конечно, мы не можем смешивать догматику и истинную веру с фундаментализмом. Любое религиозное учение опирается на догматическое ядро — истины веры. А иногда существуют такие авторитеты, как папа или римская конгрегация доктрины веры, которые и устанавливают, какие воззрения отклоняются от этого догматического ядра, т. е. от ортодоксальности. Такого рода ортодоксия превращается в фундаменталистскую, если пастыри и представители истинной веры игнорируют эпистемическую ситуацию мировоззренчески плюралистического общества и настаивают — даже

* Речь легла в основу статьи «Вера и знание», опубликованной в кн.: Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? М.: Весь Мир, 2002. С. 115–131.

прибегая к насилию — на претворении своего учения в жизнь политическими средствами и его обязательности для всех.

Пророческие учения, возникавшие в период «осевого времени», были вплоть до наступления эпохи модерна *мировыми* религиями. В этом качестве они выступили постольку, поскольку могли распространяться в когнитивном горизонте империи, воспринимаемой изнутри в качестве диффузно-всеохватывающего, не имеющего определенных границ пространства. «Универсализм» империй древности, периферия которых, если смотреть из центра, терялась в бесконечности, создал мировым религиям, с их исключительной претензией на общезначимость, адекватный фон. Однако в условиях ускоряющегося развития и усложнения эпохи модерна эти претензии на истину уже нельзя было больше так же наивно поддерживать. В Европе конфессиональный раскол и секуляризация общества принудили верующих к рефлексии над своим вовсе не исключительным положением внутри универсума дискурса, отграниченного от научного, профанного, знания и разделяемого с другими религиями. Конечно, рефлексивное осознание фона — двойной относительности собственной позиции — не ведет к признанию относительного характера самих истин веры. Рефлексия над религией, позволяющая ей учиться видеть себя глазами другого, имела серьезные политические последствия. Верующие пришли к пониманию, почему они должны отказаться от насилия, и прежде всего от насилия, организованного государством, как от средства осуществления своих религиозных устремлений и амбиций. Только этот когнитивный сдвиг и сделал возможным религиозную терпимость, позволил отделить религию от мировоззренчески нейтральной силы государства.

Если сегодняшние режимы (Иран, например) отказываются от такого разделения или если религиозно инспирированные движения стремятся к возрождению исламской формы теократии, — то эти процессы мы и характеризуем как фундаментализм. Я объяснил бы этот закоснелый в собственном фанатизме менталитет тем, что вытесняются когнитивные диссонансы. Такое вытеснение становится неизбежным, если в когнитивных условиях сциентистского знания о мире и мировоззренческого плюрализма обозначается возврат к исключительности домодерных установок веры; это своего рода реакция на давнишнюю потерю ясной эпистемической ситуации некой всеохватывающей перспективы мира. В результате возникают когнитивные диссонансы, так как сложные жизненные

отношения в плюралистическом обществе нормативно можно соединить только со *строгим* универсализмом равного внимания и уважения к каждому — будь то католик или протестант, мусульманин или еврей, индуист или буддист, верующий или атеист.

Чем отличается исламский фундаментализм, который мы наблюдаем сегодня, от гораздо более ранних фундаменталистских течений и практик, например от охоты на ведьм во времена раннего Нового времени?

Наверное, есть некий мотив, который объединяет названные вами явления; фактически это реакция «уносимых ветром», их желание защититься от страха перед насильственным искоренением традиционных жизненных форм. Начальные этапы политической и хозяйственной модернизации могли уже тогда вызывать подобные страхи в отдельных регионах Европы. В условиях глобализации рынков, прежде всего финансовых, и прямых инвестиций мы находимся сегодня на совсем другой стадии [развития]. Все в мире выглядит по-другому, если мировой социум *расколот* на страны-победители, страны, извлекающие пользу, и страны, потерпевшие поражения. Для арабского мира США представляют собой движущую силу капиталистической модернизации. Америка со своим потенциалом для развития, который сегодня никто не в состоянии воспроизвести, со своим впечатляющим технологическим, экономическим и военно-политическим превосходством — это одновременно и обида для чьего-то собственного самосознания, и образец, которым втайне восхищаются. В общем, западный мир служит козлом отпущения за личное, в высшей степени реальное ощущение потери, от которого страдает население, вырванное из своих культурных традиций самим ходом модернизации, приобретающей радикальное ускорение. То, что в Европе при благоприятном стечении обстоятельств можно было понять как процесс *творческого* разрушения, в других странах видится как бессмысленная, а в ситуации разобщенности поколений и неэффективная компенсация за боль, которую приносит распад привычных форм жизни.

Можно психологически проследить, что там, где духовные источники подпитывают защитную реакцию, которая направлена против секуляризированной власти Запада, протершейся над миром, там приходит в движение казавшийся утраченным потенциал.

Яростная фундаменталистская атака на ту установку веры, которая не принуждала модерн (die Moderne) ни к саморефлексивному учебному процессу, ни к обособлению отделенного от политики толкования мира, обретает свою убедительность из того обстоятельства, что она подпитывается субстанцией, которая у Запада, по-видимому, отсутствует. Запад встретился с другими культурами, контуры которых чеканила одна из величайших мировых религий, но встретился, имея за собой лишь вызывающе банальную неотразимость уравнилительной культуры материального потребления. Давайте признаем, что Запад предстает как социум, фактически утративший собственное нормативное ядро. Это сохранится до тех пор, пока к правам человека он будет относиться так же, и не более, как к экспорту рыночных свобод, а у себя дома допускать неоконсервативное разделение труда между религиозным фундаментализмом и *опустошительной* секуляризацией свободного хода вещей.

Как философ признаете ли вы истинным суждение, согласно которому терроризм — это в конечном счете политическое действие?

Не в субъективном смысле. Политический ответ вам дал бы Атта, тот египтянин из Гамбурга, который управлял первым из потерпевших катастрофу самолетов. Но современный исламский фундаментализм постоянно осваивает и политические составляющие. В любом случае важно иметь в виду те политические мотивы, которые нам сегодня предстают в форме религиозного фанатизма. В этом смысле полезна информация, согласно которой некоторые террористы, вовлеченные сегодня в «священную войну», еще недавно выступали как светские националисты. Когда знакомишься с биографиями этих людей, прослеживается примечательная последовательность. Разочарование в националистических военных режимах (Obrištenregime) сыграло свою роль; и сегодня религия предлагает новый, очевидно субъективно убедительный язык для старых политических ориентаций.

Что вы, собственно говоря, понимаете под терроризмом? Имеет ли смысл различение терроризма по национальному и глобальному признакам?

В известном смысле терроризм палестинцев сегодня выглядит

несколько старомодно. Здесь речь идет о смерти и убийстве, о безжалостном уничтожении врагов, женщин, детей. Жизнь за жизнь. Террор в парамилитаристской форме партизанской войны — нечто другое. Физиогномически он напоминает многие национально-освободительные движения в обеих половинах XX века, а сегодня несет на себе, например, печать борьбы чеченцев за независимость. Но в противоположность им глобальный террор, кульминацией которого стало 11 сентября, имеет анархистские черты бессильного бунта, направленного против врага, которого нельзя победить, если размышлять о победе в прагматических понятиях целенаправленного действия. Единственно возможный эффект — растерянность и тревога правительства и населения. С технической точки зрения высокая уязвимость нашего сложного общества создает, конечно, идеальные возможности для точечных атак, нарушающих нормальное течение процессов; при минимальных усилиях они могут вызвать серьезные деструктивные последствия. Глобальный терроризм доводит до крайности то и другое — отсутствие реалистических целей и циничное использование уязвимости сложных систем.

Следует ли отличать терроризм от обычного преступления и других форм насилия?

Да и нет. С точки зрения морали для террористического акта — не важно, какими мотивами он вызван и в какой ситуации совершен, — нет прощения. Ничто не убедит нас признать жизнь и страдания других людей всего лишь средством ради достижения произвольно выбранных целей. Всякое убийство — это слишком много для достижения любой цели. Однако с исторической точки зрения терроризм в других контекстах предстает как преступление, с которым имел дело уголовный суд. Терроризм заслуживает иного интереса со стороны общества, чем частное происшествие, и требует другого вида анализа, чем, скажем, убийство из ревности. Если бы дело обстояло иначе, наверное, не было бы и этого интервью. Различие между политическим террором и обычным преступлением видно очень ясно в период смены политических режимов, когда бывшие террористы приходят к власти и превращаются в представителей интересов своей страны. Правда, на такое превращение политического облика могут рассчитывать лишь те террористы, которые в принципе реалистиче-

ски отстаивали разумные политические цели; их криминальным действиям, по крайней мере ретроспективно, можно придать известную легитимность, как направленным на преодоление очевидно несправедливой ситуации. Но я не могу представить себе сегодня какой-нибудь контекст, который мог бы придать чудовищному преступлению 11 сентября черты какого-то понятного и пригодного политического действия.

Не думаете ли вы, что это событие следует интерпретировать как объявление войны?

Даже если исходить из того, что термин «война» более понятен, а с моральной точки зрения и менее уязвим, чем «крестовый поход», я считаю решение Буша о начале «войны против терроризма» серьезной ошибкой — как в нормативном, так и в прагматическом отношении. С нормативной точки зрения он возвысил этих преступников до своих военных противников; с прагматической точки зрения вряд ли можно вести войну с трудно распознаваемой «сетью», если мы хотим сохранить за словом «война» какой-то определенный смысл.

Если верно утверждение, что Запад, контактируя с другими культурами, должен быть более восприимчивым и самокритичным, — как это осуществить на практике? Вы говорите в этой связи о «переводе», о поиске некоего «общего языка». Что под этим подразумевается?

После 11 сентября мне часто задавали вопрос: разве это проявление насилия не сводит на нет всю мою концепцию ориентированных на здравый смысл и рассудок действий, развитую мною в «Теории коммуникативного действия»? Общеизвестно, что в нашем мирном и состоятельном европейском сообществе мы тоже живем рядом со *структурированным* насилием, в известной степени ставшим привычным. Это насилие социального неравенства и унижительной дискриминации, обнищания и маргинализации. Именно потому что наши социальные отношения пронизаны насилием, стратегическими установками и манипуляциями, мы не должны забывать о двух других моментах. С одной стороны, практика нашей повседневной совместной жизни выстраивается на со-

лидной основе общих фоновых убеждений, культурных самоочевидностей и взаимных ожиданий. Здесь — *в общественном пространстве более или менее полных оснований* — происходит координация наших действий в привычных языковых играх, во взаимно заявленных и по меньшей мере имплицитно признанных претензиях на значимость. С другой стороны, поэтому возникают конфликты, которые, если их последствия достаточно болезненны, заканчиваются у психотерапевта или в суде, конфликты из-за *нарушения коммуникации*, из-за превратного понимания и непонимания, неискренности и обмана. Спираль насилия начинается со спирали нарушенной коммуникации, что — через спираль взаимного неконтролируемого недоверия — и ведет к краху коммуникации. Но если насилие начинается с нарушения коммуникации, то после того, как оно произошло, можно выяснить, что пошло вкривь и вкось, а что должно быть исправлено.

Данное тривиальное понимание можно перенести и на те конфликты, о которых вы говорите. Это более сложная ситуация, потому что различные нации, жизненные формы и культуры изначально удалены друг от друга, они чужие по отношению друг к другу. И встречаются они не как «товарищи» или «члены», которые — в семье или в повседневности — чувствуют себя *отчужденными* друг от друга только вследствие систематически искаженной коммуникации. *В международном общении* среда права, обуздывающего насилие, играет сравнительно незначительную роль. А в *межкультурных* отношениях право в лучшем случае создает институциональные рамки для формальных попыток понимания, например для Венской конференции ООН по правам человека. Такие формальные встречи (как ни важен межкультурный дискурс о спорных трактовках прав человека, проводимый на многих уровнях) не могут одни прервать спираль образования стереотипов. Раскрепощение менталитета происходит прежде всего благодаря либерализации отношений, объективному освобождению от прессинга и страха. В повседневной коммуникативной практике должны быть созданы возможности для формирования капитала доверия. Только при этом условии реальным станет действенное просвещение в СМИ, школах и семьях. Оно должно быть также привязано к предпосылкам собственной политической культуры [населения].

Для нас самих в этой связи важен способ нашего нормативно-го самовыражения по сравнению с другими культурами. Анализи-

руя собственный образ, Запад мог бы, например, узнать, что он должен изменить в своей политике, если он хотел бы по-прежнему играть роль *цивилизующей*, формирующей мир силы. Без политического обуздания не имеющего границ капитализма губительной стратификации мирового общества не преодолеть. Диспропорциональную динамику развития мировой экономики необходимо было бы по крайней мере сбалансировать в ее деструктивных последствиях — я подразумеваю вырождение и обнищание целых регионов и континентов. Дело не только в дискриминации, оскорблении и унижении других культур. Тема «борьба культур» («Kampf der Kulturen») часто оказывается покрывалом, за которым скрываются веские материальные интересы Запада (например, приоритетно распоряжаться нефтяными месторождениями и обеспечивать энергетические потоки).

Тогда неизбежен вопрос: подходит ли вообще модель диалога для межкультурного общения и обмена? Разве [говоря о культуре] мы не имеем в виду только собственные понятия, в которых мы присягаем на верность идее общности культур?

Длительное деконструктивистское подозрительное отношение к европоцентристским пристрастиям провоцирует встречный вопрос: почему герменевтическая модель понимания, обретаемая в повседневном общении, со времен Гумбольдта развитая и методологически в качестве приема анализа текстов, неожиданно дает сбой, если мы выходим за границы своей культуры, собственных жизненных форм и традиций? В любом случае интерпретация должна преодолеть дистанцию между пред-пониманием как с одной, так и с другой стороны. И неважно, что разделяет — культурная или пространственно-временная дистанция, большие или малые семантические различия. Все интерпретации — это переводы *in nuce**. Нужно не раз прочитать Дэвидсона, чтобы понять: идею понятийной схемы, которая конституируется в пространстве многих миров, нельзя помыслить как непротиворечивую. При помощи аргументов Гадамера тоже можно показать, что идея замкнутого в себе универсума значений, который несоизмерим с другими универсумами подобного рода, является неустойчивым понятием. Однако это не повод для того, чтобы ориентироваться на методи-

* Букв. — в орехе; сжато, вкратце (*итал.*).

ческий этноцентризм. Рорти или Макинтайер защищают модель ассимиляции понимания, согласно которой радикальная интерпретация означает или приспособление к собственным меркам рациональности, или конверсию, соглашение, т. е. подчинение рациональности совершенно чуждой картины мира. Мы должны понимать, что несет с собой диктат языка, который объединяет весь мир. Однако это описание в лучшем случае подходит к исходному состоянию, когда провоцируется герменевтическая активность. Именно в этом исходном состоянии к участникам диалога приходит осознание односторонности их начальных перспектив толкования. Участники диалога, стремящиеся преодолеть подобные трудности понимания, могут расширить перспективу [собственного понимания] и в итоге прийти к удовлетворительному решению, потому что распределение в диалоге ролей «говорящего» и «адресата» всегда уже предполагает существование той глубокой симметрии, которая необходима для любых ситуаций вербального общения. Каждый компетентный «говорящий» участник диалога уже научился пользоваться системой личных местоимений; кроме того, он умеет обмениваться в разговоре перспективами первого и второго лица. В динамике такого взаимного обмена перспективами и имеет свое основание процесс совместного создания горизонта значений, в котором обе стороны способны прийти не просто к этноцентрической позиции, собирающей и обращающей в свою веру, но к *интерсубъективно разделяемой* интерпретации.

Такая герменевтическая модель объясняет, почему усилия понять могут быть успешными лишь в том случае, если они предпринимаются в ситуации симметричных условий для *взаимного* признания и освоения перспектив. Доброе намерение [для диалога] и отсутствие демонстративного насилия — хорошие вспомогательные средства, но их недостаточно. Если не сложилась структура коммуникативной ситуации, свободной от искажений и латентного присутствия власти, результаты коммуникативного процесса всегда вызывают подозрение — наверное, все-таки была уплачена какая-то пошлина. Конечно, в селективности, способности расширять границы и в вынужденности исправлять толкования по большей части обнаруживаются лишь неизбежные ошибки конечного духа. Но часто все это неотделимо от той слепоты, которая присуща интерпретации вследствие не до конца стершихся следов, напоминающих о насильственной ассимиля-

ции по принципу сильнейшего. Поскольку коммуникация всегда несет в себе двойственность, она есть выражение скрытого насилия. Но если коммуникацию в этом описании онтологизируют, если видят в ней «не что иное, как» насилие, то не осознают существенного: только в телосе (Telos) понимания (и только в нашей ориентации на достижение этой цели) реально присутствует критическая сила, которая может сломить насилие, не порождая его новых форм.

Глобализация подвела нас к необходимости переосмыслить такое понятие международного права, как суверенитет. Какой видите вы роль международных организаций? Играет ли в нынешних условиях космополитизм, одна из центральных идей Просвещения, все еще полезную роль?

Экзистенциалистский тезис Карла Шмитта, который считал, что политика исчерпывается в самоутверждении одной коллективной идентичности против других подобных коллективных идентичностей, я оцениваю как ошибочный, а с учетом его практических следствий — как опасный. Эта онтологизация отношения друг — враг внушает следующую мысль: попытки сделать отношения между субъектами международного права справедливыми в глобальном масштабе на самом деле являются только универсалистским прикрытием собственных партикулярных интересов. Нельзя забывать и о том, что тоталитарные режимы XX века с жестокостью их массового политического криминала неслыханным образом опровергли презумпцию невинности классического международного права. В силу исторических обстоятельств мы уже достаточно долго находимся в состоянии перехода от классического международного права к тому, что Кант предвосхитил как состояние всемирного гражданства. Это реальность, и я не вижу разумной альтернативы такому развитию — также и с нормативных позиций. Нельзя скрывать, конечно, и оборотной стороны. Все отчетливее проявляется двойственность этого переходного состояния; она обнаружилась после окончания Второй мировой войны на военных трибуналах в Нюрнберге и Токио, со времени образования ООН и принятия Декларации о правах человека, в активной политической практике по защите прав человека после окончания «холодной войны», в спорной натовской интервенции на территорию Косово и теперь — с момента объявления войны

против международного терроризма.

На одной стороне — идея общности различных народов, которая преодолевает «естественное состояние» [вражды] между государствами, действительно ограничивая возможность агрессивных войн. В рамках этой установки геноцид и преступления против человечности рассматриваются как уголовные преступления, нарушение прав человека наказывается; соответственно ООН и ее структуры приобретают новые институциональные формы. Гаагский трибунал выдвинул обвинение против Милошевича — в прошлом главы государства. Высшие судебские чины Великобритании практически высказались за выдачу Пиночета — диктатора, известного своими преступлениями. Совершенствуется организация международного трибунала ООН. Принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств не является безусловным. Решением Совета Безопасности [ООН] иракскому правительству позволено свободно распоряжаться собственным воздушным пространством. «Голубые каски» гарантируют защиту правительству в Кабуле, пришедшему к власти после свержения режима талибов. Македония, находившаяся на грани гражданской войны, под давлением Европейского союза идет навстречу требованиям албанского меньшинства.

С другой стороны — сознание, что ООН часто не более чем «бумажный тигр», бюрократическая структура. Ее практика увязана с интересами сотрудничества великих держав. С 1989 года Совет Безопасности смог обеспечить декларируемые принципы мирового сообщества лишь очень выборочно. Часто силы ООН не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, как показывает, например, трагедия в Сребренице. И если (как в ситуации косовского конфликта) Совет Безопасности заблокирован в своих решениях, а вместо него действует без мандата региональный союз типа НАТО, то налицо фатальные случаи насилия, которое разворачивается где-то в пространстве между легитимным, но слабым авторитетом мирового сообщества и эффективностью военных действий национальных государств, преследующих собственные интересы.

Разрыв между должным и возможным, правом и силой характеризует в невыгодном свете как правомочность позиции ООН, так и практику интервенций своенравных государств, которые просто узурпировали мандат (пусть даже из благих намерений), и в результате то, что получило бы одобрение как полицейская ак-

ция, выродилось в военные действия. Мнимые полицейские акции ничем не отличаются от отвратительной нормальной войны. Эта неясная мешанина классической политики власти, оглядок на региональных партнеров по союзу и ставок на космополитический правовой порядок не только усиливает существующий внутри ООН конфликт интересов между Севером и Югом, Востоком и Западом, — она способствует росту недоверия, которое сверх-держава испытывает к любому нормативному ограничению собственной свободы действий. В итоге внутри западного лагеря возникают разногласия между англосаксонскими и континентальными странами. Первые руководствуются принципами «реалистической школы» международных отношений, вторые принимают решения в нормативном контексте, предполагающем развитие и ускорение процессов трансформации международного права в транснациональный правовой порядок.

В период войны в Косово, да и в политике по отношению к Афганистану соответствующие расхождения в целях проявились совершенно отчетливо. Эту напряженность, существующую между реалистическими и нормативными ориентациями в политической практике, можно преодолеть, если такие континентальные режимы, как Европейский союз, АСЕАН, однажды начнут играть действительную роль в политике, чтобы способствовать транснациональной интеграции и брать на себя ответственность за все более плотное сплетение международных организаций, конференций, практик. Только при участии этих *global players**, способных создать политический противовес стремительному развитию рынков, ООН обретет основу, которая гарантирует осуществление «благородных» программ и политических практик.

Многие высоко оценивают идею универсализма, который вы защищаете в своих политических статьях и трудах по проблемам нравственности; многие ее критикуют. Что общего, например, между универсализмом и толерантностью? Разве «толерантность» — не патерналистское понятие, которое лучше было бы заменить на, скажем, «дружелюбие»?

Исторически употребление понятия толерантности близко к такого рода выводам. Вспомните, например, о Нантском эдикте,

* Глобальные игроки (англ.).

в котором король Франции признавал веру гугенотов, т. е. религиозного меньшинства, и разрешал им «служить по-своему» при условии, что они не ставят под сомнение авторитет королевского дома и главенствующее положение католицизма. В этом патерналистском смысле терпимость практикуется на протяжении столетий. Патернализм присутствует и в односторонности заявлений типа того, что суверенные властители или доминирующая культура готовы добровольно «терпеть» практику меньшинства, которая представляет собой некое отклонение от их собственной позиции. В этом контексте тот, кто проявляет терпимость, убежден, что он возложил на себя некое бремя, совершил акт благодеяния, продемонстрировал добрую волю. Одна сторона разрешает другой отклониться от «нормы», но при одном условии — меньшинство, в отношении которого проявлена терпимость, никогда не перейдет «границы допустимого». На эту авторитарную «разрешительную концепцию» (Р. Форст) и направлена критика права. Очевидно, границы терпимости, определяющие, что можно принять, а что принять никак нельзя, устанавливаются произвольно. И возникает впечатление, что толерантность, которая практически реализуется только в определенных рамках, за которыми терпимость прекращается, становится ядром нетерпимости. Эта установка служит фоном для вашего вопроса.

Сегодня мы сталкиваемся с этим парадоксом и в концепте «винниственной демократии». В ней границы демократическим гражданским свободам полагаются практикой врагов демократии. Никакой свободы врагам свободы. На этом примере можно показать, однако, как полная деконструкция понятия терпимости попадает в ловушку. Ибо институт демократического правового государства противоречит предпосылке, позволяющей говорить о патерналистском содержании толерантности. В политической общности, граждане которой обоюдно пользуются равными правами, нет места авторитету, *в одностороннем порядке* полагающему границы терпимого. На основе равноправия и взаимного признания граждан никогда не возникнет привилегия определять границы терпимости, исходя из перспективы собственного целеполагания. Очевидно, что взаимная толерантность требует в чем-то новых установок. Важно уйти от убеждения, согласно которому терпимость в отношении других жизненных форм, признаваемых менее ценными, чем собственные, представляет собой границу, проходящую между разделенными миропониманиями. Однако в демокра-

тическом сообществе разные установки подчиняются принципам справедливости, представленным в конституции. Конечно, сегодня спорят и о конституционных нормах и основах. Меня интересует сам способ осмысления, своеобразие рефлексии этих основ и норм. Так мы переходим к вопросу об универсализме.

В конституции определены институты и методы, которые должны разрешать конфликты в интерпретациях конституционных норм. Это и вопрос о том, где в конкретном случае проходит та граница, за которой (как в современном исламском экстремизме) публичная пропаганда покидает «конституционное поле». Интересно, что сама конституция постоянно нарушает эти установления; в частности, это относится к любым практикам и учреждениям, в которых нормативное содержание конституции приобретает обязывающую форму. На рефлексивном уровне конституция, при соответствующих ей условиях, допускает выходы за ее границы, т. е. она толерантна, например, по отношению к гражданскому неповиновению. Демократическая конституция допускает протесты диссидентов, которые ведут свою борьбу, исчерпав все правовые приемы, но при условии, что это противостояние, нарушающее многие правила, опирается на конституционные нормы и ведется средствами, которые придают их борьбе характер ненасильственной апелляции к большинству, призыва еще раз осмыслить принятые решения. Сам демократический проект осуществления равных гражданских прав питается протестом тех меньшинств, которые сегодня представляются большинству врагами демократии, а завтра *могут* стать ее подлинными друзьями.

Рефлексивное самопреодоление границ терпимости, возможное в пространстве «воинственной демократии», возвращает нас к вашему вопросу об универсализме как правовой и нравственной основе либерального порядка. В строгом смысле универсализм — это эгалитарность индивидуализма разумной моральной установки, которая требует взаимного признания, другими словами, равного уважения и признания интересов каждого. Принадлежность к инклюзивной, т. е. открытой для всех, моральной общности предполагает не только солидарность и участие, свободное от дискриминации. Она означает одновременно и равное право каждого на индивидуальность, право «быть другим». Дискурс, вытекающий из этих позиций, структурно отличается от всех других дискурсов двумя существенными особенностями.

С одной стороны, универсалистские дискурсы права и морали

позволяют себе злоупотреблять особо коварной формой легитимации, потому что за блестящим фасадом разумной всеобщности могут скрываться частные интересы. Этой идеологической функцией, уже разоблаченной молодым Марксом, обосновывается неприязненное чувство (Ressentiment) Карла Шмитта, когда он валит в одну кучу «гуманность» — понятие, позволяющее, с его точки зрения, обозначить меру эгалитарного индивидуализма, — и «демонизм». То, что фашисты, как и он, не увидели и что не проигнорировал Маркс, есть другая особенность этого дискурса — та своеобразная замкнутость на себе, которая и делает его средой самого себя корректирующего учебного процесса. Как любая критика, направленная на односторонне-избирательное применение универсалистских критериев, должна иметь эти критерии в качестве собственной предпосылки, так и любое деконструирующее разоблачение идеологически-завуалированного употребления универсалистского дискурса отсылает к критической точке зрения, заданной изначально самим этим дискурсом. Моральный и правовой универсализм трудно превзойти; речь идет о том, что практику, даже ошибочную, можно критиковать только исходя из ее же критериев.

Последний вопрос: могли бы вы что-нибудь сказать о понятии «героизм»?

Можно только изумляться мужеству, дисциплине и самоотверженности, которые продемонстрировали 11 сентября нью-йоркские пожарные, не раздумывая отдававшие свои жизни ради спасения других людей. Но почему их нужно называть героями? Возможно, в американском языке это слово имеет другие коннотации, чем в немецком. Мне кажется, что всюду, где чествуют «героев», возникает вопрос: кому это нужно и почему? В этом простодушном смысле можно толковать предостережение Брехта: «Горе стране, которой нужны герои».

2. Что значит разрушить памятник?*

Весь мир наблюдал ту сцену в Багдаде 9 апреля 2003 года, когда

* Впервые опубликовано в: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. April 2003. S. 33.

американские солдаты набросили статуе диктатора петлю на шею и под ликование толпы символически низвергли ее с пьедестала. Казавшийся непоколебимым монумент пошатнулся, затем упал. Но прежде, чем рухнуть на землю, массивная фигура, надломившись у своего подножия и покачиваясь под собственной тяжестью, на одно внушающее ужас мгновение зависла в гротескно-неестественном горизонтальном положении. Как восприятие гештальта «опрокидывает» картинку-загадку, так и общественное восприятие данной войны вместе с этой сценой, видимо, изменилось. Непристойное в моральном смысле насаждение шока и ужаса среди истощенного и безоружного населения, подвергаемого беспощадным бомбардировкам, превратилось в этот день в шиитском районе Багдада в горячо приветствуемое празднование освобождения граждан от террора и угнетения. Любое из этих впечатлений в чем-то истинно, даже если все они вызывают противоречивые моральные чувства и оценки. Вопрос в том, должна ли двойственность чувств приводить к противоречивым суждениям?

На первый взгляд все просто. Незаконная война остается действием, противным международному праву, даже если она ведет к нормативно желательным результатам. Но разве это все? Дурные последствия могут сделать нелегитимным благое намерение. А разве не могут благие последствия способствовать развитию принуждения, которое потом узаконивают? Массовые захоронения, подземные тюрьмы и рассказы людей, подвергавшихся пыткам, не оставляют сомнений в криминальной природе режима [Садама Хусейна]; и освобождение измученного народа от варварской власти — благо, наивысшее из всех благих политических устремлений. В этом отношении и иракцы — ликуют ли они теперь, мародерствуют, остаются апатичными или демонстрируют свой протест против оккупантов — выносят приговор моральной сущности войны. В нашем политическом общественном мнении обнаружались реакции двух видов.

Прагматики верят в нормативную силу фактического и полагаются на практический здравый смысл, который оценивает на глазок как политические границы морали, так и плоды победы. По их мнению, рассуждение о правомочности войны *бесплодно*, потому что она за это время превратилась в факт истории. Другие, *капитулируя* или из оппортунистических настроений, или из убеждения в неизбежности свершившегося, отстраняются от междуна-

родно-правового догматизма под тем оправданием, что он из чисто постгероической щепетильности касательно рисков и цены военного насилия закрывает глаза на политическую свободу как истинную ценность. Обе реакции поверхностны, потому что аффективно обращены против мнимой абстракции «бескровного морализма», не проясняя (даже для себя) альтернативы, которую предлагают неоконсерваторы в Вашингтоне с целью международно-правового «приручения» государственного насилия. Дело в том, что морали международного права они противопоставляют не реализм, не пафос свободы, а революционную точку зрения: если [в данной ситуации] международно-правовой режим несостоятелен, то политически более успешное гегемониальное осуществление либерального мирового порядка морально оправдано даже и в том случае, если используют средства, несовместимые с международным правом.

Вулфовиц — не Киссинджер. Он больше революционер, чем циник силы. Разумеется, супердержава оставляет за собой право действовать односторонне и — в случае успеха — превентивно использовать все имеющиеся в ее распоряжении военные средства, чтобы укрепить свои позиции гегемона перед лицом возможных соперников. Но глобальные властные амбиции [США] — вовсе не самоцель для новых идеологов. Что отличает неоконсерваторов от школы «реалистов» — так это видение американской политики создания мирового порядка, политики, выходящей за пределы политики реформ ООН в области прав человека. Эта политика не изменяет либеральным целям, но разрушает цивилизованные пути, которые Устав Объединенных Наций определяет для достижения цели исходя из принципов блага мирового сообщества.

* * *

Конечно, сегодня ООН еще не в состоянии заставить государства-члены, отклоняющиеся в своей политике, гарантировать своим гражданам демократический и государственно-правовой порядок. Ее в высшей степени избирательная политика в области прав человека ограничена пределами возможного: России, обладающей правом вето, не нужно опасаться вооруженной интервенции в Чечню. Использование Саддамом Хусейном нервно-паралитического газа против собственного курдского населения — лишь один из многих случаев в скандальной хронике несостоятельно-

ти мирового сообщества государств, которое не замечает даже геноцида. Тем более важна поэтому основная функция ООН — сохранение мира, на чем, собственно, и основано само ее существование. Это подразумевает осуществление запрета на агрессивные, наступательные войны, благодаря которому после Второй мировой войны было сведено на нет *jus ad bellum** и ограничен суверенитет отдельных государств. Тем самым классическое международное право сделало решительный шаг к космополитическому правовому порядку.

США, которые на протяжении полувека выступали застрельщиком на этом пути, практикой иракской войны не только разрушили эту свою репутацию, но и отказались от роли державы-гаранта международного права; более того, своими действиями, противоречащими международному праву, они подали губительный пример будущим сверхдержавам. Не будем обманываться: нормативный авторитет Америки разрушен. Для легитимного в правовом отношении применения военной силы не существовало никаких предпосылок: а) не возникла необходимость в самозащите страны вследствие состоявшегося нападения или его угрозы, б) отсутствовало одобренное Советом Безопасности решение, предусмотренное в главе VII Устава ООН. Ни резолюция 1441, ни 17 предшествующих («уже примененных») резолюций по Ираку не были в достаточной степени правомочными для осуществления этой акции. Фракция сторонников войны усилилась, потому что сначала она добивалась принятия «второй резолюции»; однако соответствующее предложение не могло быть поставлено на голосование, потому что эта резолюция не принимала в расчет позицию «морального» большинства государств — членов ООН, не имеющих права вето. В конце концов из-за этого все акции приобрели характер фарса, так как президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял, что при необходимости будет действовать без мандата Совета Безопасности. В свете доктрины Буша развертывание военной силы в Персидском заливе с самого начала не имело характера простой угрозы. Ведь это предполагало бы *возможность предотвращения* применения санкций.

Сравнение с интервенцией в Косово — не в пользу снятия подобных обвинений. Хотя и в этом случае не было получено одобрение Совета Безопасности. Но в последующем обретенную легити-

* Право на войну (*лат.*).

мацию можно было бы обосновать, исходя из трех обстоятельств: на недопущении происходивших (согласно сведениям того времени) этнических чисток; на действительном для этого случая всеобщем требовании международного права об оказании необходимой помощи; на бесспорно демократическом и государственно-правовом характере всех государств-членов действовавшего военного союза [НАТО]. Сегодня это нормативное разногласие раскалывает Запад.

Уже тогда, в апреле 1999 года, обозначилось примечательное различие в стратегии оправдания [акции] между континентальными и англосаксонскими державами. В то время как одна сторона извлекла уроки из катастрофы под Сребреницей, чтобы покончить с вооруженной интервенцией, спровоцировавшей разрыв между эффективностью и законностью (в связи с прежними вторжениями), и продолжать движение по пути к полностью институционализованному мировому гражданскому праву, другая сторона довольствовалась нормативной целью — распространить собственный либеральный порядок на другие территории (в случае необходимости и при помощи силы). В свое время я связывал это отличие с разными традициями правового мышления — космополитизмом Канта, с одной стороны, и либеральным национализмом Джона Стюарта Милля — с другой. Но в свете гегемониальной односторонности (Unilateralism), которую проводят адепты доктрины Буша с 1991 года (ср. документы, опубликованные Стефаном Фрëлихом во «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 10 апреля 2003 года), можно предположить, что американская делегация уже на переговорах в Рамбуйе придерживалась этого своеобразного взгляда. А решение Джорджа В. Буша проконсультироваться с Советом Безопасности возникло не из стремления к международно-правовой легитимации, которая давно воспринимается как нечто излишнее. Эта поддержка была всего лишь желательна, она расширяла «коалицию согласия» и рассеивала сомнения собственного народа.

Однако мы не должны воспринимать новую [для политики США] доктрину как выражение нормативного цинизма. Геостратегическое сохранение сфер влияния и жизненно важных ресурсов, которое должна обеспечить эта политика, можно подвергнуть идеологически-критическому анализу. Но возможные в этом ракурсе объяснения тривиализируют тот немислимый еще за полтора года до этого разрыв с нормами [международного права], кото-

рым США были так верны. Следовательно, мы поступаем правильно, когда не довольствуемся мотивировкой этой политики, а хотим понять на деле сущность новой доктрины. Иначе мы не увидим революционного характера переориентации политической стратегии, учитывающей исторический опыт прошедшего столетия.

* * *

Хобсбаум по праву называл XX век «американским». Неоконсерваторы могут считать себя «победителями» и брать за образец для установления под эгидой США нового мирового порядка несомненные успехи — новую организацию Европы, Тихоокеанского региона и региона Юго-Восточной Азии после поражения Германии и Японии [во Второй мировой войне], а также преобразование стран Восточной и Юго-Восточной Европы в результате распада Советского Союза. С точки зрения либерально трактуемой постистории *a la* Фукуяма эта модель имеет явное преимущество, так как позволяет избежать подробного обсуждения нормативных целей: что может лучше подходить для людей, чем повсеместное утверждение в мире либеральных государств и глобализация свободных рынков? И путь к этой цели ясно очерчен: Германия, Япония и Россия из-за войн и сверхвооружений были поставлены на колени. Ныне военная сила проявляется преимущественно в асимметричных войнах; победитель *a priori* добивается несомненного успеха относительно малыми жертвами. Войны, которые улучшают мир, не нуждаются ни в каком *последующем* оправдании. Ценой побочного вреда, которым можно пренебречь, они ликвидируют очевидное зло, которое могло бы и дальше существовать под эгидой бессильной ООН. Сброшенный с пьедестала Саддам — это аргумент, достаточный для оправдания этой установки.

Данная доктрина была разработана задолго до террористического нападения на башни-близнецы. 11 сентября массовая психология пережила шок; сегодня по сути впервые создан климат, в котором эта доктрина может быть востребована, пусть и в другой, не заостренной на «войне против терроризма» версии (этому способствует и практика манипулирования психологией масс). Доктрина Буша оформилась в своем радикализме благодаря тому, что было определено качественно новое явление в хорошо знакомых практиках традиционного ведения войны. В случае с режимом та-

либов реально существовала причинная связь между скрытым, неосязаемым терроризмом и уязвимостью «государства негодяев». Следуя этому образцу, при помощи классической операции «войны государств» можно избежать опасности, которая исходит от диффузных и действующих во всем мире сетей.

По сравнению с первоначальной версией эта увязка гегемониальной односторонности с необходимостью отразить возможную угрозу ввела в игру аргумент самозащиты. Однако нужны все новые доказательства. Правительство США снова и снова пыталось убедить мировую общественность в существовании контактов между Саддамом Хусейном и Аль-Каидой. Эта кампания по дезинформации в собственной стране была столь успешной, что, согласно последнему опросу, 60% жителей США приветствовали смену режима в Ираке как «возмездие» за теракт 11 сентября. Однако для *превентивного* использования военных средств доктрина Буша не предлагает никакого действительно приемлемого разъяснения. Дело в том, что негосударственное насилие террористов — «война в мирное время» — не соответствует категориям государственных войн, поэтому с их помощью невозможно обосновать необходимость размыть точно отрегулированное в международном праве понятие необходимой государственной обороны в смысле опережающей *военной* самозащиты.

В борьбе с организованными в глобальную сеть, децентрализованно и невидимо действующими врагами помогут лишь превентивные действия в *другой* оперативной области. Помогут не бомбы и ракеты, не самолеты и танки, а международная сеть государственных разведывательных служб и ведомств уголовного розыска, контроль за денежными потоками, отслеживание любых периферийных, «тыловых» связей. Соответствующие «программы безопасности» не затрагивают ни компетенций международного права, ни гарантированных государством гражданских прав. Другие опасности, которые вырастают из провалов политики нераспространения ядерного оружия, в которых она сама виновата, можно преодолеть путем переговоров, не прибегая к помощи войны с целью разоружения. Это демонстрирует сдержанная реакция [мирового сообщества и США] на Северную Корею.

Таким образом, доктрина, направленная своим острием против терроризма, не несет в себе никаких преимуществ в плане легитимации по сравнению с прямым преследованием цели построения гегемониального мирового порядка. Сброшенный с пьедестала

Саддам остается аргументом-символом нового либерального порядка целого региона. Война в Ираке — это одно из звеньев в политике создания мирового порядка, которая видит свое оправдание в том, что приходит на смену безрезультатной политике прав человека, проводимой исчерпавшей себя Всемирной организацией. США берут на себя роль опекуна, с которой, по их мнению, не справилась ООН. Какие контраргументы можно привести? Моральные чувства могут ввести в заблуждение; они фиксируют частности, отдельные сцены, отдельные картины, которые трудно оправдать и принять. Но в вопросе оправдания войны в целом нет возможности уйти от ответа и оценки. Решающее расхождение связано с вопросом, можно ли международно-правовой контекст оправдания [войны] заменить унилатеральной, односторонней, политикой создания мирового порядка, которую проводит самого себя уполномочивающий гегемон.

* * *

Эмпирические возражения против осуществимости американского видения (Vision) на практике сводятся к тому, что всемирное общество стало слишком сложным, чтобы им можно было руководить из одного центра средствами политики, опирающейся на военную силу. В страхе, который технологически высокооснащенная супердержава испытывает перед террором, по-видимому, концентрируется картезианский страх субъекта, который пытается и самого себя, и весь остальной мир вокруг сделать объектом, чтобы все это поставить под контроль. В условиях горизонтально переплетающихся средств связей рынков, культурных и общественных коммуникаций политика оказывается на заднем плане, если она выступает в первоначальной форме иерархической системы безопасности общества-государства в смысле Гоббса. Государство, которое сводит все возможности выбора к нелепой альтернативе войны или мира, вскоре неизбежно сталкивается с ограниченностью своих организационных возможностей и ресурсов. Оно направляет усилия к достижению взаимопонимания с конкурирующими державами и чужими культурами в ложное русло и увеличивает издержки, связанные с согласованиями, до головокружительных величин.

Даже если бы односторонняя политика гегемонизма была осуществима, она имела бы *побочные последствия*, которые в силу

своих масштабов *нормативно нежелательны*. Чем чаще политическая власть прибегает к помощи армии, секретных служб и полиции, тем больше она мешает самой себе в выполнении роли всемирной цивилизирующей и преобразующей силы; более того, опасности подвергается и сама миссия улучшения мира согласно либеральным представлениям. В самих США надолго установленный режим «президентов войны» уже сегодня закладывает мину под основы правового государства. Даже не говоря о пытках, практикуемых вне границ собственной страны, военный режим лишает прав не только узников Гуантанамо, прав, предоставленных им Женевской конвенцией. Он дает службе безопасности данного государства опасную свободу действий, которая ограничивает конституционные права собственных граждан. И разве не стала бы доктрина Буша тем более требовать контрпродуктивных мер для тех отнюдь не невероятных случаев, если бы граждане Сирии, Иордании, Кувейта и т. д. нашли недружественное применение демократическим свободам, которые им хочет даровать американское правительство? В 1991 году американцы освободили Кувейт, но они его не демократизировали.

Роль управляющего, самовольно взятая на себя супердержавой, вызывает протест со стороны партнеров по союзу; они не уверены, что единоличные претензии на руководство *нормативно обоснованы*. Когда-то либеральный национализм был убежден в своем праве распространять на весь мир универсальные ценности собственного либерального порядка, — в случае необходимости даже и военными средствами. Такое самоуправство не стало легче переносить вследствие того, что от национального государства оно перешло к гегемониальной державе. Именно универсалистская сущность демократии и прав человека запрещает насаждать их огнем и мечом. Универсалистские претензии на общезначимость, которые Запад связывает со своими «базовыми политическими ценностями», т. е. с процессом демократического самоопределения, списком прав человека, не следует путать с имперскими устремлениями — будто форма политической жизни и культура одной, пусть и старейшей, демократии является примером для всех обществ.

Этот род «универсализма», который присущ старым империям; они воспринимали мир, простиравшийся за их уходящими далеко границами, исходя из перспективы собственной картины мира. Модерное самопонимание, напротив, несет на себе печать эгалитарного универсализма, который побуждает децентрировать

собственную перспективу, он заставляет признать относительность собственного взгляда в перспективе равноправной «иной позиции». Именно американский прагматизм связал представление о том, что для всех партий в равной мере есть благо или справедливость, с взаимным принятием перспектив. Разумность современного «права разума» реализуется не в универсальных «ценностях», которыми можно было бы владеть как имуществом, раздавать в глобальном масштабе и экспортировать по всему миру. «Ценности» — даже те, которые заслуживают глобального признания, — не существуют в вакууме; они обретают обязательность только в нормативных общественных системах и в практиках определенных культурных жизненных форм. Когда тысячи шиитов в Насситии выходят на демонстрации против Саддама и американской оккупации, эти люди хотят сказать и о том, что незападные культуры вправе осваивать универсальное содержание прав человека исходя из своих собственных ресурсов и в собственном прочтении, привязывая их к собственному опыту и интересам.

В межгосударственных отношениях многостороннее волеизъявление является не просто единичным выбором среди других [альтернатив]. В своей им же выбранной самоизоляции даже благой гегемон, принявший на себя роль патрона общих интересов, вряд ли *знает*, в какой мере интерес, который он отстаивает, является действительно *в равной мере* благом для всех. Космополитическим тенденциям в развитии международного права, которые в равной степени учитывают голоса всех участников и выслушивают все стороны, нет рациональной альтернативы. Организации Объединенных Наций до сих пор не наносили большего ущерба. Но благодаря тому, что «малые» страны — члены Совета Безопасности не поддались давлению больших, ООН не только сохранила уважение к себе, но даже приумножила свое влияние. Повредить своей репутации она может сегодня лишь сама, если попытается «лечить» средствами компромисса то, что вылечить невозможно.

II. Голос Европы в многоголосье ее наций

3. 15 февраля, или Что связывает европейцев¹

Предварительные замечания: Жак Деррида и Юрген Хабермас считают очень важным вместе поставить подписи под этим анализом, который одновременно является воззванием. По их мнению, сегодня настоятельно необходимо, чтобы немецкие и французские философы вместе возвысили свои голоса, несмотря на споры, которые когда-то их разделяли. Автор этого текста, что легко узнаваемо, — Юрген Хабермас. К сожалению, Жак Деррида по личным причинам не смог написать собственный текст, хотя охотно сделал бы это. Он предложил Юргену Хабермасу вместе с ним поставить свою подпись под этим обращением, потому что принимает его главные послышки и перспективы: определение новой европейской политической ответственности вне евроцентризма любого рода; призыв заново подтвердить и эффективно изменить международное право и его институты, в особенности ООН; новую концепцию и новую практику распределения государственной власти и т. д. По духу, хотя и не совсем по смыслу, этот документ апеллирует к кантовской традиции. Впрочем, замечания Юргена Хабермаса во многом близки мыслям, которые Жак Деррида недавно развил в своей

¹ Эта статья, опубликованная вместе с Жаком Деррида, была частью инициативы, в рамках которой в разных европейских газетах выступили одновременно Умберто Эко, Адольф Мушг, Ричард Рорти, Фернандо Саватер и Джанни Ватимо. [Первые опубликовано в: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31. Mai 2003. S. 33 f.]

книге *«Voyous. Deux Essais sur la raison»** (Galilee, 2002). На днях в США появится книга обоих авторов — Юргена Хабермаса и Жака Деррида, содержащая две беседы, которые каждый из них провел в Нью-Йорке после 11 сентября 2001 года. При всех явных различиях в оценках и аргументах, их позиции и здесь сближаются, когда речь заходит о будущем институтов международного права и новых задачах Европы. (Ж. Деррида)

Две даты мы не должны и не можем забывать. Тот день, когда газеты сообщили своим ошеломленным читателям о лояльности в отношении Буша, которую призывал продемонстрировать испанский премьер-министр; за спинами других коллег по Европейскому союзу он обращался к европейским правительствам, готовым воевать. И 15 февраля 2003 года — когда против этого нападения [на Ирак] выступили массы демонстрантов в Лондоне и Риме, Мадриде и Барселоне, Берлине и Париже. Одновременность этих потрясающих демонстраций, самых грандиозных с конца Второй мировой войны, ретроспективно можно было бы отметить в учебниках истории как знак рождения общеевропейской общественности.

На протяжении гнетущих месяцев перед началом иракской войны будоражило ощущение морально непристойного разделения труда. Огромный размах деятельности служб тыла и снабжения, необратимость развертывания войск, а также лихорадочная деятельность организаций гуманитарной помощи — все это происходило взаимосвязано и напоминало точно подогнанные детали маховика. Без всяких помех, на глазах у населения, лишенного собственной инициативы, разыгрывалось некое действо. И люди должны были стать его жертвой. Нет сомнения, что эмоции будоражили всех европейских граждан. Вместе с тем эта война привела жителей Европы к осознанию давно назревавшего крушения общеевропейской внешней политики. Как во всем мире, так и в Европе бесцеремонное нарушение международного права вызвало горячие споры о будущем мирового порядка. Но больше всего нас поразили аргументы, которые и породили противостояние.

Благодаря этим спорам и дискуссиям известные линии разлома обозначились еще четче. Противоположные точки зрения на роль сверхдержавы, на будущее мирового порядка, на соотношение международного права и ООН способствовали обнаружению скрытых

* «Проходимцы. Два эссе о разуме» (фр.).

противоречий. Углубился разлад в отношениях между континентальными и англосаксонскими странами, с одной стороны, между «старой Европой» и кандидатами на вступление в ЕС из Центральной и Восточной Европы — с другой. В Великобритании *special relationship** с США отнюдь не бесспорны, но по-прежнему стоят на первом месте в ряду предпочтений Даунинг-стрит. А страны Центральной и Восточной Европы хотя и стремятся в ЕС, но еще не готовы вновь позволить ограничить свой только что приобретенный суверенитет. Иракский кризис стал только катализатором этих процессов. И в брюссельском Конституционном конвенте обнаружили противоречия в позициях наций, которые действительно желают углубленного развития ЕС, и тех, которые *явно* заинтересованы сохранить существующий модус межправительственного руководства или, в лучшем случае, готовы к его «косметическому» изменению. Такое противоречие не может долго продолжаться.

Будущая конституция подарит нам новую фигуру — министра иностранных дел объединенной Европы. Но чем поможет это новое ведомство, если сами правительства не объединены общей политикой? И Й. Фишер при измененном наименовании оставался бы таким же безвластным, как Солана. Пока, вероятно, лишь государства, составляющие ядро Европы, готовы передать ЕС определенные государственные функции. Что делать, если только эти страны и могут договориться о том, что такое их «собственные интересы»? Если Европа не желает распасться, эти страны должны использовать механизм «усиленного сотрудничества», созданный в Ницце, чтобы положить начало «Европе различных скоростей» с общей внешней, оборонной политикой и политикой в области безопасности. Так возникнет эффект кильватерной струи, которая достаточно быстро сможет втянуть в эту динамику другие государства-члены, прежде всего в еврозоне. В рамках будущей европейской конституции не может быть никакого сепаратизма. Двигаться вперед — не значит исключать. Авангардное ядро Европы не может превратиться в закрытую малую Европу; оно должно — как было уже не раз — стать локомотивом. Теснее сотрудничающие государства — члены ЕС ради собственного интереса откроют двери своим гостям. Приглашенные войдут тем быстрее, чем скорее ядро Европы окажется способным действовать на внешних направлениях и докажет, что в сложном мировом обществе считают-

* Особые отношения (англ.).

ся не только с дивизиями, но и с мягкой властью переговоров, взаимоотношений и экономических выгод.

В таком мире совсем невыгодно сосредоточивать политику на глупой и дорогостоящей альтернативе войны и мира. Европа должна уравновесить гегемониальную односторонность Соединенных Штатов своим влиянием в международной сфере и в рамках ООН. Во всемирных экономических организациях, в учреждениях Всемирной торговой организации, во Всемирном банке и Международном валютном фонде она должна активно использовать свое влияние при формировании проекта будущей всемирной внутренней политики.

Политику дальнейшего развития ЕС сегодня ограничивают средства и методы административного управления. До сих пор реформы ускоряли функциональные императивы создания общих экономических и валютных зон. Эти движущие силы исчерпаны. *Конструктивная, формирующая политика*, которая требует от государств-членов не только ликвидации препятствий для конкуренции, но и общей воли, предоставлена мотивам и убеждениям *самых граждан*. Решения большинства по масштабным внешнеполитическим вопросам могут рассчитывать на признание только тогда, когда с ними солидарно меньшинство. Но это предполагает чувство политической сплоченности. Народам необходимо «надстроить» и расширить свои национальные идентичности до европейского измерения. Ставшая сегодня уже довольно абстрактной государственно-гражданская солидарность, которая ограничивается гражданами собственной нации, должна в будущем распространиться на европейских граждан и других наций.

Это ставит вопрос о «европейской идентичности». Только осознание общей политической судьбы и убедительная перспектива общего будущего могут удержать меньшинство от обструкции воли большинства. В принципе граждане одной нации обязаны рассматривать гражданку другой нации как «одну из нас». Эта установка воспринимается многими скептически: а существуют ли реально исторический опыт, традиции и достижения, позволяющие европейским гражданам прийти к сознанию общей политической судьбы, совместно выстраданной и *которую надо совместно формировать*? Привлекательное, даже соблазнительное «видение» («Vision») будущей Европы не упадет с неба. Сегодня оно может родиться только из тревожного ощущения растерянности. Но оно *может* вырасти и из ситуации, в которой мы, европейцы, будем

принудительно предоставлены самим себе. Европейская идентичность должна артикулироваться в дикой какофонии многоголовой общественности. Если эта тема до сих пор даже не поднималась, — значит, мы, интеллектуалы, оказались несостоятельными.

Коварство европейской идентичности

Легко объединяться ради того, что необязательно. Все мы подпали под обаяние образа мирной Европы, основанной на кооперации, открытой для других культур, способной к диалогу. Мы восхищаемся Европой, которая во второй половине XX века нашла примерное решение двух проблем. ЕС уже сегодня предлагает формы «управления за пределами национального государства», которые могли бы служить образцами для постнационального положения дел. Европейские государства всеобщего благосостояния тоже достаточно долго играли роль образцов и моделей. На уровне национальных государств их сегодня обороняют. Масштабы легитимации социальной справедливости, достигнутые в государствах всеобщего благосостояния, показали, что будущая политика «укрощения капитализма» необходимо ограничена, имеет разумные пределы. Так почему же Европа, если она нашла решение двух таких серьезных проблем, не спешит принимать новые вызовы, защищать и развивать в конкурентной борьбе проектов космополитический порядок на основе международного права?

Дискурс, начатый в масштабах Европы, необходимо задает направление, стимулирующее процессы самопонимания. Этому смелому предположению противоречат, по-видимому, два факта. Первое. Не привели ли именно самые значительные исторические достижения Европы, их всемирное признание к тому, что она утратила свою создающую идентичность силу? Второе. Что должно объединять изнутри такой регион, где как ни в каком другом не прекращается соперничество множества сознающих себя наций?

Христианство и капитализм, естествознание и техника, римское право и Кодекс Наполеона, гражданско-городская форма жизни, демократия и права человека, секуляризация государства и общества распространились из Европы на другие континенты. Следовательно, эти достижения не являются сегодня исключительно европейской собственностью. Западный образ мышления, коренящийся в иудео-христианской традиции, имеет определен-

ные характерные черты. Но и этот духовный облик (*Habitus*), отмеченный индивидуализмом, рационализмом и активностью, европейские нации разделяют с нациями Соединенных Штатов, Канады и Австралии. Короче, «Запад» как духовный контур охватывает больше, чем только Европу.

Впрочем, Европа состоит из национальных государств, которые дистанцируются друг от друга, соперничают и спорят. Национальное сознание, отчеканенное в национальном языке, национальной литературе и истории, долго действовало и как подрывная сила. Однако в качестве реакции на разрушительную силу национализма сформировался тот образец ориентации, который придает сегодняшней Европе с ее уникальным культурным многообразием, даже на взгляд неевропейцев, собственное лицо в современном мире. Культура, на протяжении многих столетий в большей степени, чем все другие культуры, раздираемая конфликтами между городом и деревней, между церковными и секулярными властями, конкуренцией между верой и знанием, борьбой между политическими властями и антагонистическими классами, в муках постигала, как объединять различное, институционализировать противоречия, стабилизировать напряженности. А признание различий — взаимное признание другого в его инаковости — может стать отличительной чертой общей идентичности.

Самым недавним примером этого является социально-государственное примирение классовых противоречий и самоограничение государственного суверенитета в рамках ЕС. По словам Эрика Хобсбаума, в третьей четверти XX века Европа «по эту сторону» железного занавеса переживала свой «золотой век». С тех пор стали более заметными черты общего политического менталитета, т. е. сегодня другие чаще воспринимают нас как европейцев, а не как немцев или французов; и это не только в Гонконге, но даже в Тель-Авиве. Действительно, в европейских странах секуляризация относительно дальше продвинулась вперед. Граждане подозрительно относятся к нарушениям границ между политикой и религией. Европейцы имеют больше доверия к организационным достижениям государства и его способности к управлению, но скептически оценивают результативность рынка. Им присуще ясное осознание «диалектики просвещения», они не питают оптимистических иллюзий по поводу технического прогресса. Они предпочитают гарантии безопасно-

сти со стороны государства всеобщего благосостояния и возможность солидарно урегулировать проблемы. Порог терпимости по отношению к насилию против личности сравнительно низок. Стремление к сложной организации международного порядка, повсеместно регулируемого правом, связывается с надеждами на эффективную мировую внутреннюю политику в рамках реформированной ООН.

После 1989–1990 годов исчезли условия, которые позволяли западноевропейцам культивировать этот менталитет в тени «холодной войны». Ситуация 15 февраля свидетельствует о том, что образ мыслей европейца преодолел контекст собственного возникновения. Это объясняет также, почему «старая Европа» видит вызов в смелой гегемониальной политике *союзной* сверхдержавы. И почему в Европе столь многие, кто приветствовал свержение Саддама как освобождение, отвергают противоречащий международному праву характер одностороннего, превентивного, нелогичного и необоснованного вторжения. Итак, вопрос в том, насколько стабильна эта европейская ментальность? Укоренена ли она в глубоком и богатом историческом опыте и традициях?

Известно, что многие политические традиции, претендующие на авторитет как самобытные, были «изобретены». Европейская идентичность, напротив, изначально несет в себе нечто сконструированное, она рассматривается как продукт публичной деятельности. Важно понимание того, что *произвольно* созданная конструкция неизбежно несла бы в себе изъян всеядности. Политическая нравственная воля, которая обнаруживает свою значимость в герменевтике процесса самопонимания, — это не произвол. Выяснение различия между наследством, которое мы принимаем, и тем, от которого хотим отказаться, требует такой же осмотрительности, как и решение вопросов, связанных с толкованием текстов, которые мы осваиваем. Исторический опыт *предлагает себя* только для осознанного усвоения, он обязательно становится силой, формирующей идентичность. В заключение несколько реплик относительно таких «кандидатур на освоение», которые могли бы придать европейскому послевоенному менталитету более четкие очертания.

Исторические истоки политического профиля Европы

Отношения между государством и церковью в Европе эпохи модерна развивались неодинаково по эту и ту сторону Пиренеев, севернее и южнее Альп, западнее и восточнее Рейна. Мировоззренческий нейтралитет государственной власти в разных европейских странах приобретал в каждом случае свою правовую форму. Но в рамках гражданского общества религия практически всюду занимает схожую — неполитичную позицию. Даже если в каких-то аспектах такая общественная *приватизации веры* и вызывает сожаление, для политической культуры этот факт имеет самые позитивные последствия. В наших краях трудно представить себе президента, который ежедневно начинает свои служебные дела с публичной молитвы, а свои успешные политические решения связывает с божественной миссией.

В Европе эмансипация гражданского общества от опеки абсолютистского режима не всюду сопровождалась демократическими преобразованиями и овладением современными (*modernen*) формами государственного управления. Однако идейное влияние Французской революции на всю Европу объясняет и то, почему здесь так ценится политика в обоих своих проявлениях — и как инструмент коммуникации, гарантирующий свободы, и как организационная власть. Практика же капитализма, напротив, связана с острыми классовыми противоречиями. Эта память препятствует непредвзятой оценке рынка. Различная оценка институтов *политики и рынка* может укрепить доверие европейцев к цивилизирующей и формообразующей силе государства, от которого они ждут коррекции «несостоятельности рыночной модели», практики рынка.

Партийная система, ведущая свою историю от Французской революции, зачастую просто копируется. Но только в Европе она служит и делу идеологической конкуренции, позволяет непрерывно давать политическую оценку патологичным в социальном отношении последствиям капиталистической модернизации. Это способствует *восприимчивости граждан к парадоксам прогресса*. В споре консервативных, либеральных и социалистических проектов и трактовок речь идет о выборе одной из двух установок. Согласно первой, потери от дезинтеграции охранительных традиционных жизненных форм перевешивают выигрыши от химерического прогресса. Согласно второй, выигрыш от развертываю-

щихся сегодня процессов творческого разрушения завтра перевесит страдания жертв модернизации.

В Европе долгие последствия классовых различий переживают-ся большинством населения как судьба, повлиять на которую можно только коллективными действиями. Так, в контексте рабочего движения и христианско-социальной традиции сложился солидаристский *этнос борьбы за «большую социальную справедливость»* против индивидуалистического этноса справедливости успеха и достижений, этноса примирения с грубым социальным неравенством.

Сегодня Европа несет на себе печать опыта тоталитарных режимов XX столетия и опыта холокоста — практики преследования и уничтожения европейских евреев, в которую нацистский режим вовлекал и общества завоеванных стран. В форме самокритики споры об этом прошлом напоминали о моральных принципах политики. Повышенный порог *чувствительности к нарушению личной и телесной неприкосновенности* проявляется и в том факте, что Совет Европы и ЕС сделали условием вступления в свои ряды отказ от смертной казни.

Прошлое переполнено войнами; когда-то все европейские нации были вовлечены в кровавые столкновения. После окончания Второй мировой войны из опыта военной и духовной мобилизации друг против друга они пришли к выводу о необходимости создавать новые наднациональные формы кооперации. Успешная история Европейского союза укрепила европейцев в убеждении, что *укрощение (Domestizierung) практики использования государственной власти* и на глобальном уровне требует *взаимного* ограничения суверенного поля деятельности.

Каждая из великих европейских наций пережила период расцвета имперской мощи и (что в нашем контексте более важно) должна была переработать опыт утраты империи. Во многих случаях этот *опыт упадка* связан с утратой колониальных империй. Увеличивающийся временной интервал, отделяющий «сегодня» от имперского господства и колониальной истории, дал европейским державам шанс *занять рефлексивную дистанцию к самим себе*. Они получили возможность научиться воспринимать себя с точки зрения побежденных в сомнительной роли победителей, которым придется отвечать за насильственную, выкорчевывающую модернизацию. Такая позиция позволяет отказаться от евроцентризма и окрыляет кантовской надеждой на единую политику в пространстве всеобщего мира.

4. Может ли ядро Европы выступать в роли неприятеля? Ответы на вопросы¹

Вопрос. Если читать ваше воззвание параллельно с вашей статьей «Что значит разрушить памятник?» (*Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 17.4.2003), то складывается следующее впечатление. Вы исходите из того, что США утратили роль нормативного авангарда XX века, и провозглашаете Европу новым территориальным и моральным авторитетом для наступающего XXI века. Но если это утверждение должно служить цели обозначить Европу как определяющего актера на мировой политической сцене, то не угрожает ли это – вследствие подчеркивания европейской самобытности – контрпродуктивными последствиями для Запада вообще и для отношений между Европой и США в частности?

Ю. Х. Гегемониальный взгляд на мир, который определяет не только риторику, но и действия современного американского правительства, противоречит либеральным принципам нового мирового порядка, которые превозносил еще отец нынешнего президента. Если позволите, маленькая биографическая ссылка: еще в школе я политически социализировался в духе идеалов американского и французского XVIII века. И если сегодня я говорю о том, что моральный авторитет, приобретенный США в роли поборника глобальной политики по защите прав человека, вдребезги разбит, то я всего лишь, — как и во время протестов против войны во Вьетнаме, — взываю к их собственным принципам. Наша критика соразмеряется с лучшими традициями самих Соединенных Штатов. Но из этого получится нечто большее, чем просто меланхолическое сожаление, если Европа вспомнит о своих собственных возможностях.

Вы определяете семь признаков, образующих своеобразие европейской идентичности (секуляризация; приоритет государства по отношению к рынку; солидарность, доминирующая над производственными достижениями; скепсис в отношении техники; сознание парадоксов прогресса; отказ от права более сильного; ориентация на сохранение мира в свете исторического опыта утрат). Такая

¹ Интервью проводил Альбрехт фон Луке для «Blätter für deutsche und internationale Politik» («Журнал по немецкой и международной политике»).

[Впервые опубликовано в: Brätter für deutsche und internationale Politik, Juli 2003. S. 801–806.]

европейская идентичность, по-видимому, выигрывает прежде всего на фоне контраста с США. Не чрезмерно ли акцентирована эта противоположность, если учитывать общие основные универсалистские ориентации и другие противоположности, например фундаменталистские теократические государства?

Между Ираном и Германией существует различие в политическом менталитете, это никому не надо объяснять. Но если ЕС хочет осуществить по сути конкурирующий с США проект универсалистской формулы международного мирового порядка или стать противовесом гегемониальному унилатерализму, односторонности, США, то Европа должна обрести и самосознание, и собственное «лицо». Она должна позиционировать себя не против «Запада», которым мы сами являемся, не против либеральных традиций старейших демократий, имеющих европейские корни. Она должна обратиться против опасной политики, вытекающей из мировоззрения людей, которые пришли к власти при довольно случайных, если не сомнительных обстоятельствах и, надо надеяться, скоро вновь будут отстранены. Случайностям такого рода не стоит придавать глубокого теоретического смысла.

Сильная поддержка войны в самих США объясняется преимущественно фундаментальными различиями в образе мыслей или скорее влиянием средств массовой информации?

Что касается действенности политического соблазна, восприимчивости к пропаганде «большого брата», то мы все живем в стеклянном доме. Мобилизация населения и унифицированная эксплуатация средствами массовой информации слишком понятного шока 11 сентября, вероятно, имеют большее отношение к тому, что до этого момента нация была избавлена от тяжелого исторического опыта, а не к прямым различиям в менталитете. С 1965 года я регулярно езжу в США, часто остаюсь там на семестр. У меня создалось впечатление, что еще никогда пространство для открытых политических споров не было так сужено, как сегодня. Мне казалось, что в либеральной Америке невозможны такие масштабы правительственно-официальных махинаций и патриотического конформизма. Правда, и центробежные силы на этом многоэтническом континенте тоже никогда еще так не проявлялись. С 1989 года нет внешнего врага, имеющего скрытую функцию подавлять внутрен-

ние противоречия. Многие люди в Вашингтоне будут довольны, если терроризм снова возьмет на себя эту роль.

Вы приписываете главную роль в будущем процессе европейского единения ядру Европы. Кто составляет его? Кто в состоянии взять на себя в будущем роль движущей силы в духе «механизма Ниццы»?

Динамичный проект серьезной внешней политики, символической и менталитетобразующей (впрочем, легко принимающей и институциональные формы), должен исходить от Франции, Германии и стран Бенилюкса. Далее необходимо было бы привлечь Италию и Испанию. Проблему пока составляют не население, а правительства. Греческое правительство, возможно, также открыто для общего образа действий.

Какая роль в будущем отводится Восточной Европе? Не пролегает ли здесь разделительная линия между Европой и ее «остатком», не разделившим с нею опыта прошедших 50 лет? Не значит ли это, что восточноевропейские государства-члены на какой-то период времени как бы исключены [из процесса]?

Это самое простое возражение. Но если двери для вступления широко открыты и для Восточной Европы, как можно вести речь об «исключении»? Я сочувствую духовному состоянию наций, которые радуются вновь обретенному суверенитету, я понимаю выводы, которые коллега Адам Михник делает по поводу войны в Ираке и исторического опыта освобождения от иноземного советского владычества. Но это неравнозначно «исключению»! Здесь важно учитывать три момента. Во-первых, изменяющийся темп объединения Европы определяется тянущим за собой все согласием между Францией и Германией. Например, во время Шрёдера и Жоспена процесс находился в стагнации. Во-вторых, существует, как показывает еврозона, Европа различных скоростей. Великобритания в обозримое время не присоединится по доброй воле к валютному союзу. Наконец, требование общей внешней политики — не просто инициатива, а реакция, рожденная необходимостью. Это нельзя выразить лучше, чем сформулированной Ричардом Рорти альтернативой: «Унижение или солидарность». И восточные европейцы должны воспринимать

это не как свое исключение, а как призыв к солидарности с остальной Европой.

Какое значение для Европы в вашем определении отводится Англии? Не располагается ли Англия, — несмотря на мощные антивоенные демонстрации, — благодаря основным чертам своего менталитета, ближе к Америке, чем к Европе, если континентальную «деонтологичную» Европу противопоставляют несущему на себе печать утилитаризма англосаксонскому пространству?

Тесной связи между философскими традициями и долгосрочной направленностью национальных политик нет. Возникновение Европейского союза всегда было для Великобритании проблемой и будет оставаться таковой в обозримое время. Но солидарность Блэра с однополярным миром — только одна позиция среди многих. Как можно прочесть в либеральном «Перспективе», в самой Англии *special relationship** ни в коем случае не бесспорны. Кроме того, нибелунгова верность Блэра Бушу, если я не ошибаюсь, основана на совершенно неверных предпосылках — это замечают и в Англии. Англичане, если мне позволено обобщить, имеют другое представление о будущем ЕС, чем немцы или французы. Это различие существует независимо от доктрины Буша и иракской войны. По моему мнению, Европа поступает нехорошо, упрятывая этот конфликт под ковер.

До сих пор вы связывали свои представления о конституционном патриотизме с общей историей [Европы], но в то же время всегда недвусмысленно предостерегали от обособленности и требовали «вовлечения другого». Не должна ли поэтому европейская идентичность — в смысле европейского конституционного патриотизма, — быть сформирована более универсалистски и открыто?

То, что конституционный патриотизм якобы предается поклонению абстрактным принципам, — тенденциозное заблуждение его противников, которые предпочли бы что-нибудь «чисто» национальное. Я не могу удержаться от искушения процитировать выдержку из длинного интервью с Жаном Марком Ферри,

* Особые отношения [с США] (англ.).

которое я уже в 1988 году провел относительно концепции конституционного патриотизма (ср.: Die nachholende Revolution [Догоняющая революция]. Frankfurt am Main, 1990. S. 149–156): «Это универсалистское содержание необходимо усваивать в каждом конкретном случае на основе собственных исторических жизненных связей и закреплять в собственных культурных жизненных формах. Каждая коллективная идентичность, постнациональная в том числе, гораздо более конкретна, чем ансамбль моральных, правовых и политических принципов, вокруг которых она кристаллизуется». В контексте всевропейской политической общественности и культуры граждане должны развивать в себе совсем другое политическое самосознание, чем то, которое проявляется, скажем, в американской гражданской религии.

Спрошу иначе: разве не существует опасность, что ваше определение идентичности, ориентированное на исторически сложившийся коллективный менталитет, может быть воспринято как субстанциалистское?

Да, эта опасность тем более вероятна, что у европейских общностей слишком мало субстанции.

В этом же контексте: что представляет собой этот конкретный европейский опыт, который должен способствовать рождению «сознания совместно выстраданной и совместно выстраиваемой политической судьбы»?

Конечно, чаще учатся на негативном опыте. В моей статье во «Frankfurter Allgemeine Zeitung» от 31 мая я напомнил о религиозных войнах, о конфессиональных и классовых противоречиях, о крушении империй, об утрате колониальных империй, о деструктивной силе национализма, о холокосте — и о тех шансах, которые могут быть связаны с осмыслением этого опыта. ЕС сам являет пример того, как европейские национальные государства продуктивно осмыслили свое наполненное войнами прошлое. Если этот проект, который теперь вступил в фазу принятия конституции, не провалится, ЕС мог бы послужить моделью для форм «управления, выходящих за пределы национального государства».

Не отличаются ли в значительной степени итоги исторического опыта внутри Европы, между «старой» и «новой» Европой, а затем и в каждом отдельном случае?

Да, это так. Но разъединяющее не должно перевешивать объединяющее, как это было до сих пор. Кто сохранил в себе некое историческое чувство, не может представить себе Европу без Праги, Будапешта и Варшавы — точно так же, как и без Палермо. Не без оснований историки описывают Фридриха II, властвовавшего над Сицилией и Южной Италией, как первого «модерного» правителя.

Как можно конкретизировать ваше требование, что народы должны в известной степени «достроить» свои национальные идентичности, расширить их до европейского измерения?

Если государства — члены ЕС в общем валютном пространстве должны объединиться и политически, то нам не обойтись без гармонизации политики управления и «настройки» различных социально-политических режимов на длительную перспективу. Поскольку с этим связано перераспределение, вопрос превращается в один из самых сложных. И мы его не решим, пока португальцы и немцы, австрийцы и греки не будут готовы взаимно признать себя гражданами одной и той же политической общности. Да и на национальном уровне абстрактная (потому что лишь правовым образом поддерживаемая) солидарность граждан относительно слаба. Но в ФРГ этот тонкий пласт [солидарности] не разрушился даже после 40 лет разделения: до сих пор продолжают огромные трансфертные платежи с Запада на Восток. Европе «достаточно» и более хрупкой солидарности, но этот вид государственно-гражданской сплоченности уже необходим. Возможно, что участники мощных демонстраций, которые прошли 15 февраля одновременно в Лондоне и Риме, Мадриде и Берлине, в Барселоне и Париже, были застрельщиками этого единения.

Вы постулируете европейскую поддержку глобальной внутренней политики на путях развития международных экономических отношений. На чем конкретно

в перспективе должна строиться сила европейского влияния, если не на усилении военных устремлений, как это отстаивает другая сторона?

Полностью обойтись без военных усилий тоже нельзя. Иракский конфликт привел к осознанию настоящей необходимости запоздавшей реформы Организации Объединенных Наций. Саммит «G-8» превратился в ритуал. Я в первую очередь думаю о том, что и сама глобальная политика свободной торговли нуждается в управлении и формировании, если она не должна давать асимметричных преимуществ одной из сторон и разрушать таким образом национальные экономики. Государства еврозоны могли бы *сговориться* о своем участии во Всемирном валютном фонде, во Всемирном банке и в Банке международных расчетов, чтобы реально повлиять на решение многих вопросов — начиная с порядка на мировых финансовых рынках, через торговые конфликты и т. д., вплоть до выравнивания параметров налоговой политики. В этой области, как вы знаете, я не эксперт. Но вряд ли возможно, чтобы неolibеральной рассудочности, характерной для мирового экономического порядка, или его интерпретациям, предложенным Вашингтоном, не существовало разумной альтернативы.

Когда вы говорите о демонстрациях 15 февраля как о дне рождения новой европейской общественности, то вспоминаете о Лондоне и Риме, Мадриде и Барселоне, Берлине и Париже. А протесты, распространявшиеся от Джакарты до Вашингтона, не означали ли они нечто еще более важное? Конкретнее: не были ли эти события манифестацией новой мировой общественности?

Я думаю, что мотивы и основания для протеста на Западе, с одной стороны, и на исламском Востоке — с другой, были разными. Мировая общественность эпизодически объединялась вокруг определенных тем, начиная с вьетнамской войны; примечательно, что главным образом — по поводу войн или избиений. По-видимому, люди быстрее всего объединяются, невзирая на культурные границы, когда стихийно возмущаются очевидными нарушениями прав человека. Хотя, как показывают примеры Руанды и Конго, не все зверства привлекают равное внимание.

5. Немецко-польские реалии¹

Вопрос. *Германско-польские отношения, кажется, находятся в глубоком кризисе. После 1989 года говорили об общности немецко-польских интересов. Уже через год мы имеем одну ссору за другой: то в отношении к США и иракской войне, то в оценках Конституции ЕС или истории. Как бы вы сегодня описали точку зрения немцев на поляков? На чем она основана?*

Ю. Х. Я. Конечно, не могу говорить «от имени немцев». Но в отношении иракской войны и ее эскалации правительством Вашингтона, как вы знаете, большинство в нашей стране заняло ясную позицию. По моим наблюдениям, — исходя не только из пацифистских, но и из дальновидных нормативных принципов. Грубое, бесцеремонное нарушение международного права сигнализирует о желании супердержавы вести по собственному усмотрению политику интервенционизма в кризисных регионах. Такое пренебрежение правом должно показать, что ее собственные интересы, ценности и убеждения уже не требуют оправдания с позиции справедливости. И пример США — своего рода разрешение; теперь и другим великим державам позволительно при случае так же бесцеремонно нарушать запреты на применение силы. Впрочем, мое поколение училось верить в цивилизирующую силу международного права у тех американцев, которые создавали Организацию Объединенных Наций.

Очевидно, что многие поляки в историческом опыте своей нации находят достаточно оснований для скепсиса в оценке международных договоров и организаций, динамичной конституционализации международного права, происходившей с 1945 года. Но прошлое не всегда хороший советчик для будущего. Прежде всего меня удивляет примечательная коалиция, сложившаяся между слабым и оппортунистическим, заботящимся о своей репутации посткоммунистическим правительством и интеллектуалами прежней оппозиции, обычно такими строго принципиальными. Этот союз работает на руку очевидной американской политике раскола; при под-

¹ Берлинская корреспондентка варшавской «Gazeta» Анна Рубинович-Грюндлер провела это интервью в декабре 2003 г. после неудавшейся «конституционной» встречи в верхах в Брюсселе.

[Первые опубликовано в: *Lazeta Wyborcza* vom 17. Januar 2004.]

держке и одобрении националистов эти силы готовы провалить европейскую конституцию. В ситуации нарастающей немецко-польской напряженности для немцев более значительным фактором стало разочарование в актуальном развитии отношений, а не водоразделы в исторических воспоминаниях. Для поляков таким фактором является, естественно, исторический опыт, иницирующий недоверие к доминированию ФРГ в Европе. Германский рейх вел на Востоке войну на уничтожение. Оперативные группы свирепствовали в польских городах и деревнях. Нацисты построили на польской земле лагерь смерти. В этой стране мы принудительно рекрутировали рабочих, убивали и угоняли поляков.

Если говорить о студенческом движении и спорах историков, то немцы часто дискутировали об истории нацизма. Года два-три назад центр тяжести исторического дискурса переместился на страдания немецкого населения в годы нацизма, на бомбовую войну и насильственное переселение. Как вы расцениваете эту перемену в немецком историческом сознании?

Вспомните первые сообщения эмигрантов, Ханны Арендт или Макса Хоркхаймера, вернувшихся после Второй мировой войны в разрушенные города своей родины. В те годы немецкое население оплакивало свои страдания. Себя оно воспринимало как жертву и долгое время забывало о жертвах реальных. Это настроение, которое Александр и Маргарита Мичерлих объясняли «вытеснением», начинает изменяться только с конца 50-х годов. С тех пор мы чувствуем волнообразное движение: попытки осмыслить нацистское прошлое и призывы восстановить «нормальность» [реакции] сменяют друг друга. Однако термин «холокост» приобрел тем временем масштаб вселенской памяти. «Политика памяти» — обсуждение поколениями, родившимися после войны, массовых преступлений и сложностей прошлого — сегодня нормальное явление во многих странах, не только в Европе, но и в Южной Африке или в Аргентине и Чили.

Мне кажется, интенсивность обсуждения в самой Германии все-таки не спадает, во всяком случае в средствах массовой информации и в публичных дискуссиях. Вместе с увеличивающейся исторической дистанцией изменились две вещи. Первое — рутинный ряд послабление-подавление, при помощи которого общественность из лучших побуждений реагировала до сих пор на мне-

ния правых. Только благодаря созданному неформально, но действительному барьеру между официально разрешенной публичной риторикой, с одной стороны, и приватно выражаемыми предрасудками — с другой, на протяжении десятилетий шли процессы реальной либерализации политического мышления [немецкого] народа. В случае с Хохманом механизм «ослабление-подавление» еще раз сработал. Но через три поколения после Освенцима политический запрет на роковой политический менталитет должен быть признан; причем без определенных искусственных, в целях воспитания народа поддерживаемых перепадов между публичным и неформальным мнением.

Этот вызов более или менее случайно совпадает с другим феноменом, который вы совершенно верно описываете. После войны немцы не могли публично оплакивать своих мертвых. Их смерть исторически связана с деяниями преступного режима, поддержанного массами населения. В этих особых обстоятельствах мы порвали с укорененной в XIX веке культурой памятников воинам и строим вместо них памятник жертвам, убитым немцами. Я поддерживал эту установку, но мне было ясно, что эти усилия не пройдут бесследно. Наверстывать публичный траур по убитым на войне — неестественно, даже небезопасно. Память не должна культивировать коллективный нарциссизм и неприятие других.

Как повлияло на изменение исторического сознания окончание «холодной войны» и воссоединение Германии? Теперь Германия стала суверенной и уверенной в себе.

Народы обоих государств за эти 40 лет жизни врозь оказались дальше друг от друга, чем ожидалось. Воссоединение привело к ментальным трансформациям. В 1992–1993 годах горели общежития для эмигрантов, и интеллектуальные правые, которых до тех пор не было, проводили кампанию ревизионизма под лозунгом «Уверенная в себе нация». Но эта опасность националистического отклонения исчезла самое позднее 8 мая 1995 года, когда массы немецкого населения (вопреки историческому опыту тогдашних современников) признали капитуляцию 8 мая 1945 г. как «день освобождения». Я, впрочем, был тогда в Варшаве. Помню, как трудно мне было ощущать себя немцем в Польше в этот день пятидесятилетия [капитуляции Германии]. И кроме всего прочего, я должен был открывать заседание.

Социолог Гаральд Вельцер провел исследование семейной памяти немцев о национал-социализме. Нынешние немцы довольно хорошо информированы об ужасах нацистского режима. Но в подавляющем большинстве они исключают, что их собственные родственники могли иметь какое-то отношение к преступлениям нацизма. Две трети опрошенных сообщили, что их родители или деды на войне были больше заняты рытьем рвов и траншей. Только один процент опрошенных не исключает, что их родные непосредственно участвовали в преступлениях нацизма. Какие выводы следуют из этого для характеристики исторического сознания?

Поколение 1968 года упрекали в том, что, споря с отцами, они были слишком недоверчивыми и подозрительными. Я не хочу оспаривать преобладающую тенденцию в описании историй собственных семей [немцев]. Тем не менее участие в преступлениях нацизма ложится грузом и на других немцев. Возможно, этот анонимный перенос вины — цена за изменение менталитета следующих поколений.

Нет ли опасности в том, что ответственность за время нацизма возлагается на малочисленную нацистскую клику? Не станут ли будущие поколения в конце концов совсем отрицать ответственность немецкого народа за собственную историю?

Я не хочу оправдывать ни искажений, ни вытеснений. Но психологический механизм отделения в каждом конкретном случае истории собственной семьи от криминальных событий necessarily приводит в целом к такому толкованию нацистской истории, которое предполагает одобрение режима или даже умаление преступлений множества его «услужливых помощников». В конкретном описании новейшей истории, в политической просветительской работе господствовавшая в 50-е годы тенденция — переложить ответственность на руководящую клику и тем самым снять обвинение с народа — преодолена. Однако никто не может предсказать, как будет развиваться в перспективе политический менталитет Германии.

В Польше с озабоченностью воспринимают идею создания «Центра против изгнания», инициированную Эрикой Штайнбах из «Союза изгнанных» и поддержанную многими представителями политических и интеллектуальных кругов. Политичес-

кие партии в Польше с редким единодушием отвергают эту идею. И интеллектуалы, и публичные фигуры – Лешек Колаковский, Марек Эдельман или Владислав Бартошевский выступают против. Обоснованны ли польские опасения?

Да, план создания такого Центра в Берлине исторически недальновиден, политически глуп и бездушен; но, прежде всего, он непродуман. Кто-то разделяет иллюзию о том, что памятник уничтоженным европейским евреям в Берлине (это мужская фигура из железа) может способствовать «примирению». Однако именно этот памятник жертвам трагических событий свидетельствует о разрыве с этноцентризмом, характерным для фатальной традиции исключительного культа жертв, принесенных собственной нацией. Серьезную проблему изгнанничества следует разрабатывать в европейском измерении, нужно представлять всю ее сложность. А что касается местоположения, то в данном ракурсе скорее приходит на ум Бреслау [теперь Вроцлав], чем Берлин.

Я понимаю польские опасения касательно возрождения прежнего менталитета в Германии. Я их разделял вплоть до начала 80-х годов. Но сегодня я не вижу никаких драматических признаков, указывающих на возврат к старому. Красно-зеленое правительство стремится реагировать более объективно, но не забывая об истории. В этом отношении поляки вряд ли могут пожелать более скрупулезного в этих делах министра иностранных дел, чем Йошка Фишер.

Как вы охарактеризуете проблему антисемитизма в Германии? Есть ли связь между антисемитизмом, антисионизмом и антиамериканизмом?

Да, такая идеологическая связь характерна для радикального национализма, который внес решающий вклад в крушение Веймарской республики. Антиамериканизм в Германии всегда был связан с самыми реакционными движениями; он и сегодня служит «неисправимым» ширмой для антисемитизма. Но, с другой стороны, страх перед этим историческим комплексом заслоняет актуальную дискуссию; это объясняет, почему обоснованный протест против иракской войны и справедливая критика правительства Шарона часто воспринимаются с ошибочным подозрением. Еще одно обстоятельство. Многие еврейские граждане поселились в ФРГ, полагаясь в конечном счете на защиту со стороны

США. Поэтому поляризация по поводу иракской войны произвела раскол в либеральном лагере между еврейскими и нееврейскими немцами. Мы должны ясно понимать, что антисемитизм в ФРГ означает нечто другое (и зачастую резче артикулированное), чем антисемитизм в других странах.

Нужны ли Германии дебаты о патриотизме, востребовано ли новое определение этого понятия?

Это предложение госпожи Меркель я считаю, с позволения сказать, чепухой. Но после того как больше не станет свидетелей времени, должна неизбежно измениться и сама манера обращения с внушающими страх событиями нашего недавнего прошлого.

Вы говорите о конституционном патриотизме. Что означает это в европейском контексте?

Национальное сознание не сваливается с неба. Оно закрепило довольно абстрактную форму солидарности между чужими людьми. Поляки готовы приносить жертвы за поляков, немцы — за немцев, несмотря на то что они никогда в жизни не видели этих других (Anderen) [соотечественников]. Государственно-гражданская солидарность, преодолевающая локальные и династические границы, не есть нечто природное, естественное, она формируется лишь вместе с национальным государством. Сегодня объединение Европы заставляет нас преодолевать национальную ограниченность. Без расширения государственно-гражданской солидарности за национальные границы нет возможности запустить процессы распределения обязанностей внутри супранациональной общности из 25 государств. Такому — пусть даже временному — распределению учатся сегодня новые вступающие страны, как раньше этому учились, например, Ирландия, Греция и Португалия.

В Брюсселе главам государств не удалось утвердить Конституцию ЕС. Может быть, Европа, расширяясь, становится слишком многообразной, а поспешный германо-французский тандем контрпродуктивен для объединения всего континента в целом?

Германское правительство энергично поддержало вступление [в ЕС] Польши и других центральноевропейских стран. Но старые государства-члены не справились в Ницце с двумя задачами. Они не сумели сплотиться вокруг главной цели — европейского процесса объединения в целом. Должна ли объединенная Европа оставаться лучшей зоной свободной торговли или стать актором политических действий, направленных вовне? Не удалось также своевременно усовершенствовать институты сообщества, чтобы такой сложной структурой, как расширенный ЕС, вообще можно было управлять. Конституционный конвент запоздал. Кроме того, началась иракская война, которая расколола Европейский союз по линии давно наметившихся трещин. Американская политика углубила противоречия между сторонниками интеграции и ее противниками. Можно понять с исторической точки зрения *special relationship** Великобритании с Соединенными Штатами или стремление Польши не ограничивать опять только что приобретенный национальный суверенитет. Но точно так же следует ожидать понимания исторического контекста устремлений, существующих у центральноевропейских государств. Их позиция — мы не хотели бы связывать себе руки развивающейся интеграцией. Но гегемониальная односторонность (Unilateralismus) США укрепила наше убеждение в том, что Европа должна научиться говорить в мире одним голосом. Из тупика нас выведет только просчитанный до мелочей проект «Европа различных скоростей».

Уже в статье, написанной вами с Жаком Деррида, вы выступали за авангардное европейское ядро (Кеттегора), выполняющее роль локомотива, — не приведет ли это скорее к распаду ЕС?

Брюссельский сценарий только что показал нам, как ставшая неуправляемой Европа могла распасться, попав в тиски Великобритании, Испании и Польши. Никогда прежде Европейский Совет не допускал, чтобы столь легкомысленно провалили такой важный проект. Вместе с абсурдом национальных эгоизмов, во всей полноте явленных нам в Брюсселе, приходит фискально-вымогательское отношение друг к другу. Этот фатальный ре-

* Особые отношения (англ.).

зультат спровоцирован не какими-то планами европейского ядра, а как раз энергичной попыткой заставить Европу 25-ти шагать в ногу.

Означает ли [предлагаемая вами] альтернатива — форсировать развитие при помощи опережающего ядра Европы — новое разделение континента?

Если я вас правильно понимаю, многие поляки разрываются между страхами попасть в зависимость от Германии и Франции или оказаться в числе эксплуатируемой этими странами периферии. Но по мере поступательного вхождения в объединенную Европу и эти нации все сильнее зависят от решений большинства. Чтобы уверить всех, что европейское ядро — это переходный проект [ЕС], который ради собственных интересов открывает двери для других [стран региона], нужно четко разделить вопросы конституционной политики и распределительные решения о величине и использовании общего бюджета. Только тогда, когда рассеются раздражение и недоверие, можно показать на практике, что идти впереди не означает исключать. Каждое государство-член осуществляет предпочтительную для себя форму «тесного сотрудничества», как это предусмотрено в общеевропейских договоренностях и отчасти осуществлено в валютном союзе. Что касается остального, то меняется вся картина. Никакого массивного «ядра» не возникло бы, если бы различные партнеры объединились в более тесной кооперации на различных полях политики, — внешней политики, внутренней безопасности или гармонизации управления.

6. Нужно ли формировать европейскую идентичность и возможна ли она?*

После того как европейские правительства не смогли договориться относительно разработанного Конвентом проекта конституции, европейское объединение вновь застопорилось. Взаимное недоверие наций и государств-членов, по-видимому, сигнализирует о том, что европейские граждане не ощущают чувства политичес-

* Ранее не публиковавшийся текст на основе докладов, прочитанных в Мадриде, Барселоне и Вене.

кой сплоченности и что государства-члены далеки от того, чтобы осуществлять общий проект. Я хотел бы обсудить два вопроса: нужна ли такая европейская идентичность (I) и возможно ли вообще соответствующее транснациональное распространение государственно-гражданской солидарности (II).

I

В ходе европейского объединения, которое продолжается более полувека, снова и снова появляются, казалось бы, неразрешимые проблемы. Однако процесс интеграции, даже без внятного решения этих проблем, постоянно продвигается вперед. Сторонники оперативных действий видят в этом подтверждение своего предположения, что единое экономическое и валютное пространство, созданное политической волей, вызывает к жизни функциональную необходимость, интеллектуальное осмысление которой как бы *спонтанно* сплетает густую сеть взаимозависимостей, преодолевающих межнациональные границы и в других социальных сферах. К такому выводу подводит аргумент «зависимости от пути». Это один из способов решения, позволяющий все более сужать пространство столкновения будущих альтернатив. В данной трактовке политические элиты видят себя даже против своей воли вовлеченными в сферу деятельности, ориентированную на интеграцию, потому что они связаны едиными образцами решений, когда-то принятых и постоянно подтверждаемых, хотя последствия этих установлений невозможно предугадать.

Самотекущий процесс объединения, приближающий нас ко «все более тесному» союзу, объясняет не только политику «небрежной работы», — он снимает вину с основных действующих лиц этой политики, с тех, кто принял эту точку зрения и откладывает на потом труднорешаемые проблемы. В свете такой интерпретации [практики объединения] элиты вправе придерживаться хорошо проверенного способа *межправительственных* решений и могут не заботиться о *нормативной* интеграции граждан, которая только и позволяет ставить общие цели, выходящие за пределы национальных границ. Системная интеграция и осложнение положения элит в ситуации принятия «зависимых от пути» решений могут сделать общеевропейское сознание чем-то излишним. Если вообще необходима социальная интеграция через ценности и нормы, она сама могла бы получаться в качестве добавочного

продукта.

Я хотел бы показать: (1) почему исчерпан объясняющий потенциал этой социально-научной гипотезы и (2) как процесс объединения спотыкается сегодня о порог недостающей европейской идентичности.

(1) Проблемы, которые нужно решать сегодня, имеют исконную политическую природу; их уже нельзя преодолеть только функциональным императивом интеграции, косвенно форсируемой общими рынками и кумулятивными последствиями принятых решений. Сегодня одновременно существуют три проблемы: (а) актуальные риски расширения на Восток; (б) политические последствия окончательной экономической интеграции, особенно для стран еврозоны; и (с) изменившееся политическое положение в мире.

(а) Расширение ЕС на Восток на 10 новых государств означает возрастание усложненности и как следствие — повышение требований к структурам и деятельности политического управления¹. Без предусмотренной конституционным проектом дальнейшей адаптации способность [Европейского] Союза к управлению не может быть обеспечена даже на уровне слабой координации. Споры о практике голосования важно дополнить прежде всего новыми политическими позициями относительно принятия решений большинством. В той мере, в какой отклоняется принцип единогласия, практика межправительственных переговоров обязана, как это принято среди международных договаривающихся сторон, смягчить воздействие делиберативно принятого решения; это нам известно и по делам на нашей национальной арене. Все это значительно повышает легитимационные затраты. Меньшинство позволит победить себя большинством голосов, если оно с доверием относится к большинству. Только сознание общего членства создает основу для ощущения, что никто не хочет никого обидеть.

До сегодняшнего дня экономическое объединение Европы не было игрой с нулевым результатом; в среднесрочной перспективе выигрывали все. Поэтому европейские народы, за немногими исключениями (Норвегия, Швеция), одобрили политику объединения, проводимую элитарно, через их головы. Такая практика легитимации, оцениваемая по «*output*», по результатам, уже явно недостаточна, чтобы принять политику, следствием которой стано-

¹ *Vobruba G.* The enlargement crisis of the European Union // *Journal of European Social Policy*. Vol. 13. 2003. С. 35–57.

вится неравномерное распределение затрат и благ. Люди хотят участвовать в предварительном обсуждении проблем, а не только иметь возможность задним числом наказывать за ошибки. Эта ситуация будет повторяться все чаще по мере расширения на Восток; поэтому необходимо формирующее политическое вмешательство, которое приостанавливает и уменьшает перепады в социально-экономическом развитии между старыми и новыми государствами-членами. Соответственно обостряются конфликты по поводу распределения ограниченных ресурсов сравнительно небольшого бюджета ЕС — конфликты между дающими прибыль и ее получателями, ядром и периферией, старыми получателями на Юге и новыми получателями на Востоке Европы, большими и малыми государствами-членами и т. д.

(b) Формирующая и действенно-распределительная политика является, конечно, не только результатом расширения ЕС за счет стран, вступление которых опять усиливает уже существующие различия в экономическом развитии (например, между Швецией и Португалией). И в пространстве Европы 15 стран также возникла потребность в координации, которой уже нельзя достичь на прежних путях «негативной интеграции» (Фриц Шарфф). Пока речь шла об институционализации равных рыночных свобод, было достаточным заставить правительства отменить конкурентные ограничения, т. е. заставить чего-то *не делать*. Сегодня наоборот. Правительства должны *делать что-то*, если они согласовывают свои действия на политическом поле, которое все еще остается под национальным управлением. Вследствие создания единого экономического и валютного пространства растет потребность в гармонизации, на которую правительства после саммита ЕС в Лиссабоне первоначально ответили неформальными соглашениями². Планы действий и методы открытой координации (*peer review, benchmarking, policy learning**) касаются не только таких политических областей, как рынок рабочей силы и экономическое развитие, но и центральных сфер национальной политики (иммиграция, юстиция и уголовное преследование). К. Оффе говорит

² Формулировка из доклада К. Оффе «Социальная политика и международная политика. О двух препятствиях на пути к «единению» Европы» (*Offe C. Sozialpolitik und internationale Politik. Über zwei Hindernisse auf dem Wege zum «Zusammenhalt Europas»*. Ms — Oktober 2002).

* Равная проверка, отметка уровня, политика изучения (*англ.*).

даже о «ползучей европеизации социальной политики». Но и это усиливающееся переплетение национальных политик требует демократического расширения узкой базы легитимации. Однако перенос практики легитимации с уровня результатов на уровень совместной выработки политических программ, затрагивающих (пусть в разной степени) граждан всех государств-членов, вряд ли возможен, если не сложилось сознание принадлежности к одной и той же политической общности, которая выводит за рамки национальных государств, эту общность образующих.

(с) Третий вызов приходит извне. После окончания периода биполярного миропорядка Европа вынуждена заново определить свою роль в мире, и в особенности свое отношение к США. Начальные подходы к общеевропейской системе безопасности и оборонной политике, возможно, наиболее ясно характеризуют все пороги, о которые спотыкается сегодня процесс объединения. Без демократического формирования общеевропейского общественного мнения и общественной воли, которое осуществляется пусть и на национальной арене, но при взаимном наблюдении дискурсов, происходящих на других аренах, на этом символическом и интеграционно-действенном поле не возникнет общей политики, которую поддерживают все государства—члены Союза.

(2) Инициирование процесса движения к конституции следует рассматривать как попытку реагировать на эти вызовы. Новая конституция должна углубить интеграцию, укрепить коллективную способность Союза к действию и уменьшить дефицит демократии, о котором многие говорят. Правительства могли бы даже использовать саму конституцию в качестве инструмента для формирования европейской идентичности. Но это возможно только в том случае, если они пойдут на не лишённые риска и связанные с затратами времени изменения стиля своей прежней политики. Посредством референдумов они могут сделать самих граждан участниками процесса разработки конституции. Тенденция в данном направлении существует, тем более что дебаты о новой конституции поставили на повестку дня до сих пор не решённый вопрос о «целенаправленности» («Finalität») процесса объединения. Этот деликатный вопрос о «телесе» всего дела объединения имеет два аспекта. Один — вопрос о политической структуре общности: какую Европу мы хотим? Другой — это вопрос о географической идентичности: где проходят дефинитивные границы Европейского союза? Проект конституции оставляет оба воп-

роса открытыми.

На вопрос «Какую Европу мы хотим?» трудно найти удовлетворительный ответ в измерении одного только конституционного права, потому что конвенциональных понятий государственного и международного права уже недостаточно. Представление о рыхлом союзе государств, который удовлетворяется функцией политического обрамления общего рынка и общей валюты, давно преодолено всей сетью наднациональных регламентаций из Брюсселя и Люксембурга. Вместе с тем ЕС также весьма далек и от видения себя в качестве федералистски организованного государства для разных национальностей, которое в состоянии гармонизировать финансовую и экономическую политику своих государств-членов. Разумеется, проект конституции имплицитно признает национальные государства субъектами (*Herren*) соглашений, предоставляя им возможность свободного выхода. Но члены Конвента разработали «Конституцию» «от имени гражданок и граждан *и* государств Европы», так что глава I, § 1 начинается соломоновскими словами: «Руководствуясь волей гражданок и граждан и государств Европы вместе строить свое будущее, эта Конституция Европейского союза закладывает основы...» Конвент дал своему проекту соответствующее название «*Договор о Конституции для Европы*» и таким образом избежал спора о понятиях, с помощью которого специалисты по государственному праву так или иначе решали вопрос о суверенитете. С чисто юридической точки зрения вопрос о преимуществе европейского права над национальным решается не в пользу национальных государств, но политически дело обстоит не так просто.

Вопрос о границах, естественно, можно было бы урегулировать в конституции. Он остался открытым по политическим причинам. По-видимому, существует молчаливое соглашение о том, что пространство ЕС может быть расширено на Восток только за счет оставшихся Балканских стран. Все объединения, простирающиеся за этими пределами, должны регулироваться соглашениями об ассоциации. Поэтому фактически проблема обозначения границ заострена в связи с вопросом о вступлении в ЕС Турции, которая со времен Ататюрка относит себя к современной Европе. Этот вопрос можно оставить открытым со ссылкой на соответствующее решение Копенгагена и обычную процедуру вступления.

Можно говорить о том, что процесс разработки конституции не ускорил решения проблемы «телоса» и тогда, когда скрыто носи-

мое с собой прошлое превратилось в тяжкий груз. Вопросы политической структуры и границ будущего Союза затрагивались внутри Конвента, но дискурс элит за закрытыми дверями не нашел отклика за пределами Брюсселя. Этот дискурс не внес ясности в разногласия по основополагающим установкам, подлинным мотивам, определяющим молчаливое противостояние между дружественным единой Европе и евроскептическим лагерями. Все это хорошо известно, но, боясь разбить европейский фарфор, все об этом молчат. Члены — основатели Союза считаются (кроме Берлускони) скорее сторонниками интеграции, в то время как Великобритания, скандинавские государства и присоединившиеся к ЕС восточноевропейские страны (которые, вполне понятно, гордятся своей только что обретенной национальной самостоятельностью), скорее, хотели бы сохранить межправительственный покров Союза.

Спор между приверженцами интеграции и сторонниками межправительственных соглашений детально обсуждается в экспертных кругах, но его не выносят перед широкой политической общественностью как спор о целях и принципах. В дискуссиях о разделе компетенций между Союзом и государствами-членами, с одной стороны, и между парламентом, Советом министров и Комиссией — с другой, прежде всего, как кажется, важную роль играют два фоновых мотива: исторически укорененные представления о современном значении и роли национального государства и экономико-политические представления о порядке, в особенности о соотношении политики и рынка.

Кто, как и прежде, мыслит в категориях классической внешней политики, будет рассматривать национальные государства в качестве главных, дееспособных в международном плане актеров. В этой перспективе ЕС представляет собой одну из международных организаций, наряду с другими. Правда, среди институтов и сетевых структур мирового экономического режима он является значительной величиной; однако он не может и не должен брать на себя самостоятельную *политическую миссию*. С этой точки зрения политическая воля, какой она представлена органами ЕС, в большей мере направлена вовнутрь. Те же, кто понимают процесс экономической глобализации и мировую политическую ситуацию после 11 сентября как вызовы, позволяющие развивать формы «управления по ту сторону национальных государств», будут видеть

* Глобальные игроки (*англ.*).

ЕС скорее в стратегической роли одного из *global players**. Отсюда естественное желание укреплять коллективную дееспособность Европы в целом.

Часто эти противоположные восприятия международных событий связаны с соответствующими трактовками кризиса социального государства. Перед западноевропейскими странами стоит задача приспособить свою надежную систему обеспечения к изменившемуся демографическому развитию и к глобальным трансформациям экономических условий. Они в очередной раз перестраивают социальное государство в рамках собственных представлений, хотя причины, обуславливающие необходимость реформ, не носят исключительно внутреннего характера. Речь идет не только о «домашних» проблемах, лежащих в пределах национальной политики. Проблема в другом: должны ли национальные правительства только приспосабливаться к изменившимся «рамочным» условиям, или они обязаны стремиться оказывать влияние на экономическую глобализацию через институты мирового экономического строя (при необходимости конкурируя с США). Очевидно, что правительства, ориентированные скорее интервенционистски, чем неолиберально, составят себе представление о «европейской модели общества», только имея в виду усиление дееспособности ЕС в международном плане.

Поляризация между этими лагерями будет усиливаться из-за различий в понимании необходимости дипломатических и военных действий в условиях дестабилизации мировой политической обстановки. Политика нынешнего (вероятно, и следующего) правительства США руководствуется образом однополярного мира. Ее суть: только гегемония сверхдержавы позволяет отражать (при известных условиях и средствами оружия массового уничтожения) вызовы вооруженного фундаментализма и способствовать процессам политической и экономической модернизации во всем мире. Европейские государства поставлены перед необходимостью решать: хотят ли они занять в рамках «коалиции послушных» место, которое им как союзнику укажет в этом сценарии Вашингтон, или они предпочтут усилить коллективную дееспособность ЕС, чтобы добиваться «реконструкции Запада»³ в условиях отно-

³ Ср. интервью с Йошкой Фишером во «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» от 6 марта 2004 г. (S. 9).

сительной самостоятельности.

II

На этом фоне происходит поляризация противников и сторонников углубленной интеграции во всех [европейских] нациях. Разброс мнений между нациями заставляет правительства больших государств-членов действовать в разных направлениях. Когда Черчилль в своей знаменитой речи, произнесенной в 1946 году в Цюрихском университете, призывал Францию и Германию поддержать инициативу по объединению Европы, он не сомневался, что место Великобритании — в одном ряду с США и Россией, в роли благожелательного покровителя, но не участника проекта. Маргарет Тэтчер и Тони Блэр по возможности поддерживают впечатление, что в этой исторической самоочевидности за прошедшее время мало что изменилось. Другие исторические события усилили евроскепсис остальных стран. После первого провала конституции и быстро вспыхнувшего конфликта по поводу увеличения бюджета разрываемый внутренними конфликтами Европейский союз выглядит, скорее, как новая арена для старых игр европейских держав. Директория ЕС, образованная из Франции, Великобритании и Германии, вряд ли стремится взять на себя роль лидера — ядра Европы, но готова попытаться при других условиях межправительственных взаимодействий вернуться к старой политике, позволяющей уравновесить интересы погрязших во взаимной ревности национальных государств⁴.

Это удручающее состояние Союза подтверждает и «*nodemos the-sis*»: Европа *не в состоянии* выработать конституцию, потому что нет «субъекта», который ее вырабатывает. Согласно этому тезису, Союз не может стать политической общностью с собственной идентичностью, «потому что не существует европейского народа». Этот аргумент опирается на допущение, что необходимой основой политической общности является нация, связанная общим языком, традициями и историей. Только на базе общих идеалов и ценностных ориентаций государства-члены способны и готовы принять на себя взаимные права и обязанности и доверять друг другу в соблюдении этих норм. Я хотел бы показать, что такая интерпретация, даже ес-

⁴ В этом я разделяю опасения Х. Шнайдера, которые он сформулировал в докладе о ядре Европы, сделанном в январе 2004 г.

ли она и кажется подтвержденной европейской историей национальных государств, не выдерживает более точной проверки (1). На вопрос, существует ли нечто, подобное европейской идентичности, сегодня приходится отвечать отрицательно. Но сам вопрос тоже поставлен неверно. Речь идет об условиях, которые необходимо соблюдать, чтобы граждане *могли* распространить свою государственно-гражданскую солидарность за пределы своих национальных границ ради расширения взаимного вовлечения (2).

(1) В рамках европейского национального государства возникла абстрактная, опосредованная правом солидарность его граждан. Эта новая политическая форма солидарности между «чужими» сформировалась в тандеме с таким же новым национальным сознанием. Местная, земляческая и династическая привязанности к религиозно обоснованной власти превратились в политическое сознание активного членства в демократической, конституционной нации, что является примером коммуникативной переплавки традиционных обязанностей и лояльностей. Национальное сознание в форме искусственно созданной самобытности — это целиком и полностью современное образование. Образ национальной истории создается благодаря ученым-историкам и фольклористам, юристам, языковедам и литературоведам; через школу и семью он проникает в воспитательный процесс, транслируется средствами массовой коммуникации и посредством мобилизации военнотяжанных укореняется в образе мыслей поколений, воодушевляемых войной.

В общем этот процесс продолжался почти столетие, пока не захватил все население. Очевидно, только в практике партикуляризма, дополненного этноцентризмом, и возникла эгалитарная привязанность к универсалистским принципам демократического, конституционного государства. После двух мировых войн, эксцессов радикального национализма национально-государственное слияние этих двух элементов — национализма и республиканизма — ослабело не только в Германии. Поэтому, обсуждая возможности расширения национально-государственной солидарности, мы не можем не принимать во внимание изменение форм государственно-гражданской солидарности, происшедшее за это время.

Республиканские взгляды освобождаются от своих дополитических содержаний лишь в той мере, в какой демократические практики развивают *собственную динамику* общественного само-

сознания. Публичный дискурс, обладая собственной динамикой, влияет на формирование идентичности. Иллюстрацией может служить и то обстоятельство, что сегодня противостояние интересов возникает, скажем, по поводу реформы здравоохранения или иммигрантской политики, по вопросу об иракской войне или воинской повинности, но спор идет скорее в контексте принципов справедливости, чем в связи с «судьбой нации». Ведь «пространство конкуренции» есть нечто другое, чем борьба наций за «жизненное пространство» или за «место под солнцем». Государственно-гражданская солидарность стала разменной монетой: налоговые тяготы освобождают от долга совершать героические деяния, рискуя собственной жизнью. Мы больше не готовы умереть не только за Ниццу, но и за Берлин или Париж. (Вот причина, почему англосаксонские страны вряд ли смогли бы вести иракскую войну при условии всеобщей воинской повинности.)

Конституционно-патриотическая сплоченность формируется и обновляется в среде (*Medium*) *самой политики*. Это можно показать на примере самокритичной «политики памяти» (в послевоенный период распространившейся далеко за пределами Германии). Политические споры о холокосте, вообще о массовой преступности нацистского режима привели к тому, что у граждан ФРГ сложилось представление, что конституция Германии является достижением [их национально-гражданского сознания]. Граждане усваивают принципы конституции не в их абстрактной форме, а конкретно, исходя из контекста собственной национальной истории. Как составная часть либеральной культуры эти принципы должны войти в густое сплетение исторического опыта и дополитических ценностных ориентаций.

В данной связи важно смещение акцентов, которое имеет место при переходе к постнациональной формации сознания, — своеобразное изменение эмоционального отношения к государству и конституции. В то время как *национальное сознание* кристаллизуется вокруг государства, в образе которого народ рассматривает себя как дееспособного коллективного актора, растет *солидарность граждан государства* — членов конституционно-демократического политического сообщества свободных и равных. Главное значение имеет уже не самоутверждение коллектива вовне, а сохранение либерального порядка внутри. Так как *идентификация с государством* трансформируется в *ориентацию на конституцию*, универсалистские принципы конститу-

ции обретают известное преимущество перед партикулярным, ограниченным контекстом национальной истории [конкретного] государства.

Этот отход от восприятия государства как центра и переориентация на конституцию и дают возможность проявиться (еще в национально-государственных рамках) структуре первоначально абстрактной и юридически опосредованной «солидарности среди чужих». А эта структура, несомненно, способствует транснациональному расширению национально-государственной солидарности. Чем больше внимания, невзирая на национальные границы, уделяется универсалистскому содержанию, тем меньше споров ведется о правовых принципах, в соответствии с которыми уже давно функционируют наднациональные организации, решения международных судов. Меня интересует в этом прежде всего такой аспект: по мере роста влияния конституционно-патриотического сплочения, по сравнению с установкой на государство, формируется тяга к тому типу развития, которое мы наблюдаем сегодня на супранациональном уровне, — к постепенному «расцеплению конституции и государства»⁵.

(2) Конституции учреждают ассоциацию равноправных, государства организуют объемы их деятельности. Исторически произошло так, что национальные государства сложились в условиях революционных ситуаций, когда граждане завоевывали свои свободы в борьбе против репрессивной власти государства. В постнациональных конституциях нет этого пафоса; они создаются в совершенно других условиях. Сегодня государства, которые давно институционализировались как конституционные, чувствуют себя подверженными рискам все возрастающей взаимозависимости мирового общества. На эти вызовы они отвечают созданием супранациональных порядков, которые выходят за пределы простой координации действий отдельных государств⁶.

Международные сообщества и организации используют конституции или функционально равноценные договорные механизмы как формы собственной жизнедеятельности, но эти формы не обладают свойствами государства. Такого рода политические объ-

⁵ Brunkhorst H. *Verfassung ohne Staat? // Leviathan*. 30. Jh. 2004. N. 4. S. 530–543.

⁶ Zürn M. *Democratic Governance Beyond the Nation State: The EU and Other International Institutions // European Journal of International Relations*. Vol. 6. 2000.

единения в известной степени предшествуют супранациональным пространствам деятельности. Относительное «расщепление» конституции и государства обнаруживается, например, в том, что таким наднациональным сообществам, как ООН или ЕС, не предоставлена та монополия на легитимное применение силы, которая обеспечивала суверенитет управления, правовой и налоговой системы современного (*modernen*) государства. Несмотря на децентрализованное национально-государственное размещение средств насилия (*Gewaltmitteln*), европейское право, представляемое, например, в Брюсселе и Люксембурге, имеет преимущество перед национальными нормами права и беспрекословно реализуется в государствах-членах (именно поэтому Дитер Гримм может утверждать, что договоры Евросоюза уже являются «конституцией»).

Принимая во внимание вопрос о возможном распространении солидарности граждан государства за пределы национальных границ, мы должны, разумеется, видеть характерные различия между ООН и ЕС. Для практики Всемирной организации, которая включает все государства и не допускает больше социального размежевания между «внутри» и «вовне», достаточно узкой базы легитимации, поскольку она ограничивает свои компетенции политикой в области прав человека и сохранения мира. Для солидарности между гражданами мира достаточно единодушного морального возмущения по поводу явного пренебрежения запретами на применение силы и массовых нарушений прав человека. Мы видим, что необходимые в данном случае коммуникативные структуры мировой общественности уже находятся сегодня в стадии зарождения (*in statu nascendi*); уже вырисовываются также культурные диспозиции для единодушных моральных реакций в масштабах мира. Другими словами, функциональное требование слабой интеграции мирового гражданского сообщества не может стать непреодолимым препятствием для негативных эмоциональных реакций на массовые преступления, для их преследования международными судебными инстанциями.

Но этого потенциала недостаточно для интеграционных потребностей Европейского союза, который, как нам хочется думать, учится говорить вовне единым голосом и берет на себя «внутренние» полномочия по проведению созидательной политики. Солидарность среди граждан политического сообщества, каким бы большим и гетерогенным оно ни было, вряд ли сложится *только* благодаря практике осуществления негативных обязанностей

универсалистской морали справедливости (в случае ООН это обязанности по недопущению агрессивных войн и грубых нарушений прав человека). Граждане, идентифицирующие друг друга как членов данной политической общности, действуют, исходя из убеждения, что «их» сообщество отличает образ жизни, который предпочтительнее или, по крайней мере, молчаливо одобрен всеми. Такой политический этос больше не обладает признаками самобытности. Он осуществляется как очевидный результат развития политического самосознания, постоянно сопровождающего демократические процессы, и воспринимается его акторами как сконструированный.

Уже национальное сознание, сложившееся в XIX веке, было подобной конструкцией (хотя граждане и не осознавали этого). Вопрос, следовательно, не в том, «есть» ли европейская идентичность, а в том, могут ли пространства национальной политики открыться друг для друга. То есть возможна ли вне национальных границ собственная динамика формирования общего политического общественного мнения и общей воли применительно к европейским темам. Политическое самосознание европейцев может сегодня формироваться только в условиях демократического процесса, что, естественно, исключает отчуждение от граждан других континентов.

Структура государственно-гражданской солидарности не создает никаких препятствий для ее возможного распространения за пределы национальных границ. Разумеется, растущее доверие — не только *следствие* формирования общей политической оценки и общей воли, но и их *предпосылка*. До сих пор европейское объединение происходило в форме циркулярного процесса. И сегодня путь к углублению демократических основ Союза и необходимому взаимному сплочению общественности разных наций определяется *уже накопленным* капиталом доверия. В этой связи значение примирения между Францией и Германией невозможно переоценить.

Еще не ослабла разделяющая сила национальных историй и исторического опыта. Эта сила прорезает европейскую почву, как геологические разломы. Землетрясением стала противоречащая международному праву иракская политика правительства Буша, разбросавшая наши страны по разные стороны этих исторических разломов. Заложенный в национальной памяти потенциал обладает особой взрывной силой, потому что именно националь-

ные государства выступают в роли «Высоких Договаривающихся Сторон европейских договоров». Другие конфликты (между большими регионами, классами, религиозными общинами, партийными союзами, когортами присоединившихся, между величиной и экономическим весом государств-членов) затрагивают сферу интересов, которые так перекрещиваются и напластовываются в европейском пространстве, что это создает для Европейского союза дополнительный стимул к сплочению.

III

Если сегодня вновь оживают такие глубоко укорененные противоречия прошлой истории, если они тормозят европейский процесс объединения, то новую актуальность обретает концепция «разных скоростей». Политическим элитам следует задуматься о границах бюрократического способа управления. Это более важная задача, чем грезы министра иностранных дел Германии о далеко идущих стратегических задачах расширенного ЕС в мире⁷. Политикам когда-нибудь придется ответить на вопрос: как и где спорную цель европейского объединения можно сделать многообещающей темой процесса самопонимания для самих граждан. Политическая идентичность граждан, без которой Европа не может стать дееспособной, формируется только в транснациональном общественном пространстве. Это формирование сознания не поддается элитарному вмешательству сверху, его нельзя «установить» административными решениями, как движение товаров и капитала в общем экономическом и валютном пространстве.

⁷ Ср. выше примечание 3.

III. Взгляд на хаотичный мир

7. Интервью о войне и мире¹

Вопрос. Вы были весьма критически настроены против войны, которую вели США в Афганистане и Ираке. Однако во время косовского кризиса вы поддерживали такую же односторонность (Unilateralismus) [США], оправдывали формулу «военного гуманизма», если воспользоваться термином Хомского. Что отличает эти варианты военных действий в Ираке и Афганистане, с одной стороны, и в Косово – с другой?

Ю. Х. Об интервенции в Афганистан я высказывался достаточно сдержанно в интервью с Джованни Боррадори: после 11 сентября правительство талибов недвусмысленно отказалось дезавуировать поддержку террористической организации Аль-Каида. Международное право до сих пор не было готово к подобным ситуациям. И мои возражения не носили, как в случае с иракской войной, правового характера. Не говоря уже о провале лживых маневров нынешнего правительства США, последняя война в Персидском заливе стала очевидным вызовом, с сентября 2002 года даже официально брошенным Бушем ООН и между-

¹ Интервью в ноябре 2003 г. провел Эдуардо Мендиета, который преподает философию в Нью-Йоркском государственном университете. Состоявшийся ранее разговор с Мендиетой (летом 1999 г.) опубликован в: *Habermas J. Zeit der Übergänge*. Frankfurt a. M., 2001. S. 173–196.

[Впервые опубликовано в: *Blätter für deutsche und internationale Politik*. Januar 2004. S. 27–45.]

народному праву. Не было в наличии ни одного из двух условий, которые могли оправдать такую интервенцию: не было ни соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, ни непосредственной угрозы нападения со стороны Ирака. Эта ситуация совершенно не зависит от того, могло ли быть найдено в Ираке оружие массового уничтожения или нет. Для превентивного удара не может быть никакого последующего оправдания: никто не обладает правом развязать войну, исходя из подозрения.

В этом отличие от ситуации в Косово, когда Запад на опыте боснийской войны (не забывайте о катастрофе в Сребренице!) должен был решать: или оставаться сторонним наблюдателем дальнейших этнических чисток Милошевича, или, без видимых собственных интересов, — вмешаться. Конечно, Совет Безопасности был блокирован. Однако были два основания: одно формальное, другое неформальное (даже если они и не заменяют предусмотренное Уставом ООН одобрение военных действий Советом Безопасности), которые легитимируют [практику относительно Косово]. Одно касается всех государств (*erga omnes*) — требование оказать необходимую помощь в случае угрозы геноцида; это положение является важным элементом международного обычного права. Второе основание — НАТО представляет собой союз либеральных государств, их внутреннее устройство считается с принципами Декларации прав человека ООН. Сопоставьте это с «коалицией послушных», которая расколола Запад и включила страны, пренебрегающие правами человека, такие, как Узбекистан и Либерия Тейлора.

Важна и перспектива, с учетом которой оправдывали свое участие в интервенции в Косово такие страны европейского континента, как Франция, Италия и Германия. Ожидая в последующем одобрения со стороны Совета Безопасности, они трактовали эту интервенцию как «опережение» действенного всемирного гражданского права, как шаг по пути от классического международного права к кантовскому «состоянию всемирного гражданства», которое предоставит гражданам [всего мира] правовую защиту против собственных криминальных правительств. Уже тогда (29 апреля 1999 г. в статье для «Die Zeit») я зафиксировал характерное различие между европейцами континента и англосаксами: «Одно дело, если США в духе достойной восхищения политической традиции выполняют функцию инструмента защиты прав человека, главного гаранта порядка [в мире]. Другое дело, если

трудный переход от классической политики силы к состоянию всемирного гражданства мы понимаем как процесс учебы, который мы должны вместе осилить. Будущее требует большой осторожности. Одностороннее наделение себя полномочиями, как это сделало НАТО, не должно стать правилом».

31 мая вы и Деррида опубликовали своего рода манифест под заголовком «15 февраля, или Что связывает европейцев?» – выступление в пользу общей внешней политики, сначала в ядре Европы. Во вступлении Деррида объясняет, что он подписывает текст, написанный вами. Как получилось, что два крупных мыслителя по обе стороны Рейна, на протяжении двух последних десятилетий достаточно недоверчиво относившихся друг к другу и, как утверждают некоторые, говоривших на разных языках, неожиданно смогли совместно опубликовать такой важный документ? Это всего лишь «политика» или совместно подписанный текст есть еще и «философский жест»? Прощение, перемирие, примирение, философский сюрприз?

Не знаю, как ответил бы на этот вопрос Деррида. По-моему, вы преподносите дело слишком романтично. Естественно, в первую очередь речь идет о политической позиции, которая у меня и Деррида — как, впрочем, часто в последние годы — совпала. После формального окончания иракской войны я, как и многие напуганные падением «несогласного» правительства к ногам Буша, обратился с письмом к Деррида, — а также к Эко, Мушгу, Рорти, Саватеру и Ваттимо, — и предложил выступить с общей инициативой. (Поль Рикёр был единственным, кто предпочел воздержаться по политическим соображениям, Эрик Хобсбаум и Гарри Мулиш не смогли участвовать по личным причинам.) Деррида не мог написать своей статьи, потому что в это время проходил неприятные медицинские обследования. Но он охотно согласился во всем этом участвовать и предложил тот способ работы, которым мы затем и воспользовались. Я был рад этому. Последний раз мы встречались в Нью-Йорке после 11 сентября. Философский разговор мы возобновили за несколько лет до этого — в Эванстоне, в Париже и во Франкфурте. Так что никаких жестов уже не было нужно.

В свое время, в связи с получением премии Адорно, Деррида произнес во франкфуртской церкви Св. Павла очень эмоциональную речь, в которой выразительно проявилось духовное родство обоих. Об этом нельзя не сказать. Кроме всего политического, ме-

ня объединяет с Деррида философская связь с таким автором, как Кант. Правда, нас разделяет — мы приблизительно одного возраста, но у нас очень разный жизненный опыт — поздний Хайдеггер. Деррида осваивает его мысли с позиций Левинаса, которые инспирированы иудаизмом. Я же отношусь к Хайдеггеру как к философу, оказавшемуся несостоятельным в качестве гражданина в 1933 году и более всего после 1945 года. Но и как философ он сомнителен для меня: в 30-е годы Хайдеггер однозначно воспринимал Ницше как нового язычника, в качестве какового Ницше и был тогда в моде (*en vogue*).

Иначе, чем Деррида, трактующий способность сомышления (*Andenken*) в духе монотеистической традиции, я оцениваю и хайдеггеровское превращенное бытийное мышление (*Seinsdenken*) — это отрицание эпохальной для истории сознания границы, которую Ясперс назвал осевым временем. В моем понимании Хайдеггер предает ту цезуру, которая различным способом отмечена и пророчески потрясающим словом с горы Синая, и философским просветительством Сократа.

Если Деррида и я взаимно понимаем наш разный мотивационный фон, то различия в интерпретации не должны быть спорами по существу дела. Так что «перемирие» или «примирение», пожалуй, неверные выражения для нашего дружеского, заинтересованного общения.

Почему вы назвали ту статью «15 февраля», а не «11 сентября» (как предложили бы американцы) или «9 апреля». Стало ли 15 февраля всемирно-историческим ответом на 11 сентября, заменившим кампании против «Талибана» и Саддама Хусейна?

Это уж слишком. Правда, редакция «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» хотела опубликовать эту статью под заголовком «Наше обновление. После войны: возрождение Европы», — возможно, они хотели приуменьшить значение демонстраций 15 февраля. Ссылка на эту дату должна была напомнить о самых массовых демонстрациях со времени окончания Второй мировой войны. Они состоялись в таких городах, как Лондон, Мадрид и Барселона, Рим, Берлин и Париж. Эти демонстрации не были ответом на диверсию 11 сентября, которая именно европейцев тотчас побудила на такие впечатляющие изъавления солидарности. Скорее они выразили

яростно-бессильное негодование разнородной массы граждан, многие из которых до этого момента никогда не выходили на улицу. Призыв противников войны был недвусмысленно направлен против лживой и противоречащей международному праву политики своих и союзных правительств. Я считаю этот массовый протест не менее «антиамериканским», чем наши протесты в свое время против войны во Вьетнаме. Печальная разница в том, что между 1965 и 1970 годами мы могли причислять себя к участниками внушительных протестов в самой Америке. Поэтому я очень обрадовался, когда мой друг Ричард Рорти спонтанно принял участие в инициативе интеллектуалов 31 мая и выступил со статьей, которая оказалась политически и идейно самой острой.

Остановимся на первоначальном заголовке, который призывает к общеевропейской внешней политике «прежде всего в ядре Европы». Значит, существуют некий центр и некая периферия — есть одни, которые незаменимы, и другие, которые таковыми не являются. Для кого-то это выражение прозвучало как призрачное эхо различия, проведенного Рамсфильдом между «старой» и «новой» Европой. Я уверен, что такое фамильное сходство стало головной болью и для вас, и для Деррида. Ведь вы энергично выступаете за Конституцию Европейского союза, в которой нет места для такой пространственно-географической градации. Что подразумеваете вы под «ядром Европы»?

«Ядро Европы» — это в первую очередь техническое выражение, которое ввели в употребление эксперты ХДС по внешней политике Шойбле и Ламерс в начале 90-х годов (как раз в то время, когда процесс европейского объединения в очередной раз застопорился), чтобы напомнить об авангардной роли шести государств-членов — основателей Европейского сообщества. Тогда, как и сегодня, речь шла о том, чтобы подчеркнуть значение Франции, стран Бенилюкса, Италии и Германии как движущей силы в процессах «углубления» институтов Евросоюза. На саммите глав правительств ЕС в Ницце было официально достигнуто соглашение об «интенсивном сотрудничестве» отдельных государств-членов в отдельных политических областях. Этот механизм включен в проект Европейской конституции под названием «структурированного сотрудничества». Германия, Франция, Люксембург, Бельгия, а в последнее время даже Великобритания используют данное соглашение для общего строительства собст-

венных европейских вооруженных сил. Однако администрация США оказывает серьезное давление на Великобританию, чтобы воспрепятствовать созданию европейского штаба, лишь ассоциированного с НАТО. Следовательно, «ядро Европы» уже представляет собой реальность.

С другой стороны, сегодня в Европе (сознательно расколотов и ослабленной Рамсфилдом и его компанией) этот термин, конечно же, многих раздражает. Идея общей, инициированной европейским ядром внешней политики и политики безопасности в обстановке, когда Европейский союз после расширения на Восток почти неуправляем, вызывает опасения прежде всего в тех странах, которые по вполне понятным историческим причинам сопротивляются далеко идущей интеграции. Они хотят сохранить свободу действий в рамках национального пространства и больше заинтересованы в существующих межправительственных способах принятия решений, чем в укреплении наднациональных институтов с их практикой решений большинством голосов и во все большем числе политических сфер. Вступившие в Союз восточные и центральноевропейские страны беспокоятся о своем только что обретенном национальном суверенитете, в то время как Великобритания боится за свои *special relationship* с США.

Американская политика раскола нашла услужливых помощников в лице Азнара и Блэра. Их активность наложилась в Европе на давно существующую скрытую линию разлома между сторонниками и противниками интеграции. «Ядро Европы» — это ответ и тем, и другим: как на разгорающийся внутри Европы спор о «телесе» объединительного процесса, совершенно независимого от иракской войны, так и на стимулирование этого противоречия извне. Нервная реакция на ключевое слово «ядро Европы» возрастает по мере увеличения внешнего и внутреннего давления, требующего подобного ответа. Гегемониальная односторонность правительства США принуждает Европу наконец научиться говорить единым голосом во внешней политике. Но ввиду явной заторможенности процессов углубления Европейского союза мы можем научиться этому хотя бы в центре.

Франция и Германия на протяжении десятилетий неоднократно брали на себя эту роль. Идти впереди — не значит исключать. Двери открыты для всех. Жесткая критика, которой подвергается их инициатива прежде всего со стороны Великобритании, центрально- и восточноевропейских стран, объясняется и тем прово-

цирующим обстоятельством, что продвижение к общей внешней политике и политике безопасности, инициируемой европейским ядром, пришлось на тот благоприятный момент, когда во всей Европе подавляющее большинство населения отвергло участие в иракской аванюре Буша. Этот момент сослужил хорошую службу для нашей инициативы 31 мая. К сожалению, плодотворной дискуссии не получилось.

Известно, что Соединенные Штаты использовали свое влияние в НАТО для противопоставления «новой» Европы «старой». Связано ли будущее Европейского союза больше с усилением или с ослаблением НАТО? Можно и нужно ли заметить НАТО чем-то другим?

Во время и после «холодной войны» НАТО сыграло позитивную роль — при всем том, что самовластные действия (как в случае с интервенцией в Косово) не должны повториться. Разумеется, у НАТО нет будущего, если эта организация будет рассматриваться Соединенными Штатами все меньше как союз с консультативными обязательствами и все больше — как инструмент их односторонней, исходящей из собственных национальных интересов великодержавной политики. Своеобразие потенциала НАТО не исчерпывается функцией боеспособного военного союза; оно могло бы соединять военную боеспособность с прибавочной стоимостью *двойной легитимации*: оправданием существования НАТО, по моему мнению, может быть только его функционирование в качестве союза несомненно либеральных государств, союза, ясно согласующегося в своей практике с политикой ООН в области прав человека.

«Американцы происходят от Марса, европейцы — от Венеры», — утверждает Роберт Каган в своем эссе, вызвавшем большой интерес у неоконсервативных учеников Штрауса в администрации Буша. Это эссе, которое первоначально должно было называться «Сила и слабость», можно даже понять как манифест, впоследствии превращенный Бушем в доктрину национальной безопасности. Каган различает американцев и европейцев, называя первых «последователями Гоббса», а вторых — «кантианцами». Действительно ли европейцы вступили в постмодерновский рай «вечного мира» Канта, в то время как американцы все еще пребывают снаружи, в Гоббсовом мире политики силы, несут караул на сте-

нах тех крепостей, которые не в состоянии защитить европейцы, которые, однако, пользуются всеми выгодами ситуации?

Философское сравнение в данном контексте выглядит неубедительным: Кант сам был в известной мере верным учеником Гоббса; он не менее трезво оценивал принудительное право эпохи модерна и характер государственной власти. Каган устанавливает связь между этими философскими традициями, с одной стороны, и национальными менталитетами и политиками — с другой. Но такое соединение, при всей его плакатной упрощенности, взрывоопасно, нам лучше уйти от этого. В различии менталитетов, обусловленном большими расстояниями между англосаксами и континентальными европейцами, отражен многовековой исторический опыт; но я не вижу никакой связи этого с краткосрочными политическими стратегиями.

Пытаясь отделить волков от овец, Каган ссылается на некоторые факты. Власть нацистского террора была побеждена в результате применения военной силы и в последнем счете благодаря вмешательству США. Во времена «холодной войны» европейцы смогли построить свои государства благосостояния только под прикрытием атомного щита США. В центре Европы, где проживало большинство населения, распространились пацифистские настроения. До какого-то момента европейские страны с их сравнительно скудными военными бюджетами и плохо оснащенными вооруженными силами могли противопоставить подавляющей военной мощи США лишь пустые декларации. Разумеется, Каган вынуждает меня прокомментировать его карикатурную интерпретацию этих фактов:

- победа над нацистской Германией была достигнута и благодаря борьбе Красной Армии, понесшей громадные потери;
- социальная конституция и экономический вес являются факторами «мягкой», невоенной власти; именно они в глобальном соотношении сил обеспечивают европейцам влияние, которое невозможно переоценить;
- сегодня в Германии (что тоже является следствием американских упрощений) преобладает достойный приветствия пацифизм, который, однако, не удержал ФРГ от участия в вооруженных операциях ООН в Боснии, Косово, Македонии, Афганистане и, наконец, на Африканском Роге;

– именно США противодействуют планам создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил.

После обмена такими контраргументами спор ведется на зыбкой почве. Я считаю совершенно неправильным стремление Кэгана односторонне охарактеризовать политику США на протяжении прошедшего столетия. Борьба между «реализмом» и «идеализмом» во внешней политике и политике безопасности развернулась не между континентами, а внутри самой американской политики. Биполярная силовая структура мира между 1945 и 1989 годами, конечно, вынуждала к политике «равновесия страха». В период «холодной войны» конкуренция двух систем, обладавших атомным оружием, создавала фон для преобладающего влияния, которым пользовалась в Вашингтоне «реалистическая» школа международных отношений. Но, говоря об этом, мы не должны забывать об усилиях, которые президент Вильсон приложил после Первой мировой войны для основания Лиги Наций; нельзя забывать и о том влиянии, которое имели в Париже американские юристы и политики даже после выхода правительства США из Лиги Наций. Без Соединенных Штатов дело бы не дошло до пакта Бриана-Келлога, т. е. до первого запрета агрессивных войн международным правом. Однако и начатая еще Франклином Д. Рузвельтом «политика победителей» 1945 года плохо вписывается в воинственный образ, который Кэган создает для роли США. Рузвельт требовал в своем «Undelivered Jefferson Day Adress» от 11 апреля 1945 года: «More than the end of war we want an end to the beginning of all wars»*.

В те годы правительство США встало во главе [стратегии] нового интернационализма и в Сан-Франциско взяло на себя инициативу основания Организации Объединенных Наций. США были движущей силой институционализации ООН, так что не случайно ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. США впервые предложили заключить международную конвенцию о правах человека; выступили за глобальный контроль, за судебное и военное преследование нарушений прав человека; внушили европейцам, несмотря на оппозицию со стороны французов, идею политического объединения Европы. Этот период беспри-

* «Больше, чем окончания этой войны, мы хотим, чтобы было покончено со всеми военными начинаниями» (англ.).

мерного интернационализма в следующие десятилетия вызвал волну международно-правовых инноваций, которые хотя и были блокированы во время «холодной войны», однако после 1989 года в той или иной мере нашли применение. К этому моменту вопрос о том, вернется ли оставшаяся единственной сверхдержава к своей ведущей роли в строительстве космополитического правового порядка или выберет имперскую роль доброго гегемона «по ту сторону международного права», еще ни в коей мере не был решен.

Джордж Буш, отец нынешнего президента, имел другие представления о мировом порядке, нежели сын, — правда, они не были ясно очерченными. Односторонность образа действий нынешнего правительства [США] и репутация его влиятельных неоконсервативных членов и советников напоминают о предшественниках, об отказе от соглашения по климату, от договоренности об атомном, биологическом и химическом оружии, от конвенции о сухопутных минах, от протокола соглашения о так называемых детях-воинах и т. д. Но Каган стремится внушить представление о непрерывности [политики]. Вновь избранное правительство Буша-младшего продолжило вполне определенный отход от интернационализма: неприятие учрежденного Международного уголовного суда — нечто больше, чем правонарушение в рамках терпимого. Однако агрессивную маргинализацию ООН и бесцеремонное пренебрежение международным правом, чем грешит нынешнее правительство [США], не стоит представлять в качестве последовательного выражения главных констант американской внешней политики. Это правительство, декларирующее своей целью соблюдение национальных интересов, явно выстрелило мимо цели, и его могут не переизбрать. Почему уже в следующем году его не может сменить другое правительство, уличая Кагана во лжи?

В США «война против терроризма» превратилась в «войну против гражданских свобод» и отравила правовую инфраструктуру, благодаря которой и существует живая демократическая культура. Оруэлловский «Patriot Act» — это пиррова победа, в которой мы побеждены вместе с нашей демократией. Нанесла ли «война против терроризма» такой же урон Европейскому союзу? Или опыт терроризма 70-х годов создал у европейцев иммунитет и они не готовы платить гражданскими свободами за безопасное государство?

Я думаю это не так. В ФРГ осенью 1977 года реакция была довольно истеричной. К тому же сегодня мы сталкиваемся с другим видом террора. Я не представляю себе ход событий, если бы башни-близнецы были разрушены в Берлине или Франкфурте. Конечно, принятый и у нас после 11 сентября «пакет безопасности» не имеет того удушающего охвата и того размаха противоречия с конституцией, как устрашающие «упорядочивания» в Америке, которые мой друг Рональд Дворкин так недвусмысленно проанализировал и высмеял. Если в этом отношении и существует различие в образе мыслей и практике по обе стороны Атлантики, то я бы скорее искал его в контексте исторического опыта. Наверное, очень понятный шок в США после 11 сентября был сильнее, чем он мог бы иметь место в привыкшей к войнам европейской стране, — но как это можно проверить?

Патриотическое бурление, которое последовало за шоком, — очевидно американского свойства. Однако причину ограничения основных прав, о которых вы упомянули, — нарушение Женевской конвенции в Гуантанамо, учреждение *Homeland-Security-Department* и т. д. — я бы искал в другом. Милитаризация жизни в стране и за ее пределами, воинственная политика, которая заражается методами противника и в одно мгновение возвращает на арену мировой политики Гоббсово государство, хотя, казалось бы, глобализация рынков совсем вытесняет политический элемент на периферию, — все это вряд ли получило бы поддержку у большинства политически просвещенного американского населения, если бы правительство не воспользовалось шоком 11 сентября, сея страх и неуверенность — прессингом, циничной пропагандой. Европейского наблюдателя и обжегшихся детей вроде меня это систематическое запугивание, одоктринивание (*Indoktrinierung*) населения, ограничение спектра дозволенных мнений в октябре–ноябре 2002 года, когда я был в Чикаго, сбивало с толку. Это больше не была «моя» Америка. Потому что мое политическое мышление формировалось с возраста 16 лет — благодаря разумной *reeducation-policy** оккупантов — на американских идеалах конца XVIII века.

В вашем выступлении на пленарном заседании Всемирного философского кон-

* Политика перевоспитания (*англ.*).

гресса в Стамбуле в этом году вы сказали, что в условиях постнациональных констелляций международная безопасность подвергается новым угрозам с трех сторон: со стороны международного терроризма, криминальных государств и новых гражданских войн, возникающих в распавшихся государствах. Меня в первую очередь интересует, представляет ли собой терроризм нечто такое, чему демократические государства могут объявить войну?

Демократическое государство или нет, но обычным способом оно может вести войну исключительно против другого государства, если придерживаться точного смысла этого слова. Если правительство, к примеру, применяет военную силу против повстанцев, это напоминает войну, но это насилие исполняет тогда другую функцию: государство заботится внутри своих территориальных границ об обеспечении спокойствия и порядка, если полицейские органы больше с этим не справляются. Только в том случае, если попытка насильственного умиротворения не дает результатов и само правительство превращается в одну из многих борющихся партий, речь идет о «гражданской войне». Вербальная аналогия с «войной государств» верна только в одном пункте — с распадом государственной власти между отдельными партиями, ведущими гражданскую войну, возникает симметрия вражды, естественная для воюющих друг с другом государств. Хотя в данном случае отсутствует подлинный субъект военных действий — принудительная организационная власть государства. Простите меня за педантизм в отношении понятий, но в лице международного терроризма, распространившегося по всему миру, тем не менее характеризующегося зыбкими связями, действующего рассредоточенно, децентрализованно, мы встретились с *новым* явлением, которое не стоит опрометчиво сводить к чему-то знакомому.

И Шарон, и Путин могут чувствовать поддержку Буша, потому что он все валит в одну кучу. Будто Аль-Каида — это не что иное, как территориально ограниченная партизанская борьба террористических движений сопротивления или движений за независимость (как в Северной Ирландии, Палестине, Чечне и т. д.). Между тем Аль-Каида — это и нечто отличное от террористических бандитских и племенных войн продажных военачальников, разыгрывающихся на руинах неудачной деколонизации, и нечто иное, чем преступление правительств тех государств, которые ведут войну против собственного народа, используя этнические чистки и геноцид, или тех, которые, как режим талибов, поддер-

живают террор, охватывающий весь мир. Правительство США предприняло в иракской войне не только противозаконную, но и бесперспективную попытку заменить асимметрию между хорошо вооруженным и технологически высокооснащенным государством и неуловимой террористической сетью, использующей ножи и взрывчатку, на асимметричную войну между государствами. Войны между государствами асимметричны, если победа агрессора, который нацелен не просто на военное поражение, а на разрушение режима [противника], *a priori* предопределена очевидным соотношением сил. Вспомните о занявшем несколько месяцев выдвижении войск к границам Ирака. Не нужно быть экспертом по терроризму, чтобы понять — такими действиями нельзя разрушить инфраструктуру сети, поразить логистику (службы тыла и снабжения), Аль-Каиды и ее филиалов, иссушить среду, которая подпитывает такую группу.

Юристы, в соответствии с классическим международным правом, стоят на той позиции, что jus ad bellum влечет за собой jus in bello** как ему самому присущее ограничение. Уже детализированные предписания Гаагской конвенции о порядке ведения сухопутной войны направлены на ограничение использования военной силы против гражданского населения, против пленных солдат, против окружающей среды и инфраструктуры побежденных стран. Правила ведения войны должны предполагать возможность заключения приемлемого для всех сторон мира. Но чудовищное несоответствие сил — и технологических, и военных — между Соединенными Штатами и их нынешними противниками в Афганистане или в Ираке делают почти невозможным придерживаться jus in bello. Правомерно ли обвинение и преследование США ввиду того, что в Ираке совершалось явно подстудное, но у нас в Америке умышленно игнорируемое военное преступление?*

Американское министерство обороны было как раз в этом отношении очень гордо применением оружия точного наведения, которое могло снизить потери среди мирного населения. Когда я в вечернем выпуске «Нью-Йорк Таймс» от 10 апреля 2003 года прочитал сообщение о погибших в иракской войне и узнал правила, по которым Рамсфильд берет в расчет «casualties»*** среди

* Право на войну (лат.).

** Право на войне (лат.).

*** Жертвы (англ.).

гражданского населения, то понял, что эта так называемая точность не дает никакого утешения: «Air war commanders were required to obtain the approval of Defense Secretary Donald L. Rumsfeld if any planned airstrike was thought likely to result in deaths of more than 30 civilians. More than 50 such strikes were proposed and all of them were approved»*. Я не знаю, что мог бы сказать об этом Международный уголовный суд в Гааге. Но, принимая во внимание то обстоятельство, что США этот суд не признают, а Совет Безопасности не компетентен принимать решения в отношении его членов, обладающих правом вето, этот вопрос следует поставить иначе.

По осторожным оценкам, за это время было убито 20 000 иракцев. Чудовищная по сравнению с собственными потерями цифра делает очевидной моральную непристойность событий асимметричной войны, непристойность, которую мы чувствуем, узнавая о них по телевидению, которое так тщательно контролируется, а возможно, и подвергается манипуляциям. *Эта асимметрия сил приобрела бы совершенно другое значение, если бы речь шла не о могуществе и бессилии военных противников, а о полицейской власти международной организации.*

Сегодня ООН, уже в соответствии со своим Уставом, наделена функцией сохранения мира и международной безопасности, функцией защиты индивидуальных прав человека во всем мире. Предположим вопреки фактам, что Всемирная организация в состоянии справиться с этими задачами. В этом случае ООН могла бы выполнять свои функции лишь при условии неизбирательности, имея в своем распоряжении санкции, достигающие *запугивающей степени превосходства*, против нарушающих нормы акторов и государств. В итоге асимметрия сил приобрела бы другой характер.

Сегодня все еще невозможно осуществить бесконечно трудную трансформацию своевольной и избирательной преступной войны в полицейскую акцию, одобренную международным правом. Это требует не только беспристрастного суда, принимающего решения по конкретно квалифицированным преступлениям. Нам нужно развивать *jus in bello* в право, касающееся интервенции, которое

* «Командующий военной авиацией США был обязан получить разрешение министра обороны Дональда Рамсфельда для проведения военной операции, в которой реально могли погибнуть более 30 мирных жителей. Предлагалось более 50 подобных операций, и все они получили одобрение» (англ.).

имело бы гораздо больше сходства с внутригосударственным полицейским правом, чем с Гаагской конвенцией о ведении сухопутной войны, которая, без сомнения, применима к *практике ведения войны*, но не может стать основой для гражданских форм предотвращения преступлений и исполнения наказаний. Поскольку в случае гуманитарных интервенций всегда подвергается опасности жизнь невинных, масштабы использования силы необходимо тщательно регламентировать. Это нужно для того, чтобы акции «всемирного полицейского» потеряли характер мнимого предложения и как таковые признавались во всем мире. Моральные чувства глобального наблюдателя — хороший тест. Речь идет не о том, будто бы скорбь и сочувствие вообще могли бы исчезнуть, но о том спонтанном негодовании, которое многие из нас ощутили при виде неба над Багдадом, неделями светящегося от ракетных ударов.

Джон Роулс считает, что демократии могут вести «справедливые войны» против преступных государств — unlawful states. Но вы идете дальше в своей аргументации и утверждаете, что даже несомненно демократические государства не могут присвоить себе право по собственному усмотрению принимать решение о начале войны против деспотического, опасного для дела мира или криминального государства. В своем стамбульском докладе вы говорите о том, что непредвзятая оценка никогда не может быть вынесена только одной из сторон; уже по этой причине односторонняя позиция пусть даже стремящегося к благу гегемона всегда недостаточно легитимна: «Этот недостаток не компенсируется демократической конституцией самого доброго гегемона». Разве jus ad bellum, которое образует ядро классического международного права, неприменимо в ситуации справедливой войны?

Последняя книга Роулса «Law of Peoples»* подверглась справедливой критике. Строгие принципы справедливости, которым обязаны следовать демократические конституционные государства, он признает необязательными в отношениях с авторитарными и полуавторитарными государствами; защиту этих урезанных принципов Роулс перепоручает отдельным демократическим государствам. Он цитирует в этой связи мысли Михаэля Вальцера о справедливой войне, с которым соглашается. Оба считают «jus-

* «Право народов» (англ.).

** «Справедливость между нациями» (англ.).

tice among nations»** желательной и возможной, но осуществление международной справедливости в каждом отдельном случае он хотел бы предоставить суждению и решению суверенных государств. Думаю, что Роулс имеет при этом в виду, как и Кант, либеральный авангард сообщества государств, Вальцер же — всех членов ООН на данный момент, совершенно независимо от их внутренних конституций. В отличие от Роулса, недоверие Вальцера к наднациональным организациям и действиям мотивировано коммуитаристскими соображениями. Защита целостности жизненных форм и привычного этоса организованной в государство общности, если дело не идет о геноциде и преступлениях против человечности, имеет преимущественное право перед осуществлением абстрактных принципов справедливости в масштабах всего мира. Концепция Вальцера позволяет лучше прояснить соображения, к которым относится ваш вопрос, чем полуравнодушная защита международного права со стороны Роулса.

Со времени заключения пакта Бриана–Келлога в 1928 году агрессивные войны запрещены международным правом. Применение военной силы разрешено только для самозащиты. Тем самым *jus ad bellum** в его классическом понимании было отменено. Основанные после Первой мировой войны институты Лиги Наций оказались слишком слабыми, поэтому после Второй мировой войны Организацию Объединенных Наций наделили правом проводить миротворческие операции и акции принуждения. Эта практика была рассчитана на сотрудничество великих держав того времени, ибо предусматривала их право на вето. Устав ООН утверждает преимущество международного права над национальными правовыми системами. Привязка Устава к Декларации прав человека и далекоидущие полномочия, которыми обладает Совет Безопасности согласно главе VII, обусловили волну правовых инноваций, которые (хотя до 1989 года они оставались неиспользованными *fleet in being***) были справедливо названы «конституционализацией международного права». Всемирная организация, в которую входят 193 государства-члена, имеет реальную конституцию, которая определяет образ действий [ООН]; следовательно, можно квалифицировать и предупредить нарушения международных правил. С этого момента больше нет

* Право на войну (*лат.*).

** Флот, имеющийся в распоряжение (*англ.*).

войн справедливых и несправедливых, есть только законные и незаконные, т. е. войны, оправдываемые и не оправдываемые *международным правом*.

Важно представлять себе эту колоссальную подвижку в эволюции права, чтобы понять радикальный обвал, который вызвало правительство Буша — и своей доктриной безопасности, намеренно игнорирующей действующие правовые предпосылки для применения военной силы, и ультиматумом Совету Безопасности: или признать агрессивную политику Соединенных Штатов в Ираке чем-то незначительным, или просто не одобрять ее. На риторическом уровне легитимации речь шла вовсе не о замене «идеалистических» представлений «реалистическими». В той мере, в какой Буш хотел уничтожить несправедливую систему и демократизировать регион Ближнего Востока, его нормативные цели не противоречили программе Объединенных Наций. Спорным был не вопрос, возможна ли вообще справедливость в отношениях между нациями, а вопрос о том, каким путем она устанавливается. Вместе с моральными фразами правительство Буша отправило *ad acta** созданный 220 лет тому назад проект Канта о *придании правового статуса* международным отношениям.

Образ действий американского правительства подводит к мысли о том, что для США международное право *как среда (Medium)* для решения межгосударственных конфликтов, для осуществления демократии и прав человека уже не имеет значения. Эти цели мировая держава открыто декларирует как содержание собственной политики, которая отныне больше не апеллирует к праву, а обращается к собственным этическим ценностям и к собственным моральным убеждениям: она заменяет предписанные юридические нормы поведения собственными нормативными обоснованиями. Но одно не может заменить другого. Отказ от правовых аргументов всегда означает намерение отречься от ранее признаваемых всеобщих норм. С партикулярной точки зрения собственной политической культуры, собственного миропонимания и самопонимания даже гегемон, исполненный самых лучших намерений, не может быть уверен, понимает ли он, учитывает ли интересы и ситуацию других участников [политики]. Это относится к гражданам демократической конституционной сверхдержавы не в меньшей степени, чем к ее политическому руководству. Без включенности

* В архив (*лат.*).

в правовые действия, в которых участвуют все затронутые стороны и которые принуждают к взаимному принятию видов на будущее, ничто не заставляет доминирующую сторону отказаться от центральной идеи великой империи и так далеко пойти в децентрации собственного видения перспектив, как этого требует рациональный подход с соразмерным учетом всех интересов.

И такая ультрасовременная держава, как США, тоже подпадает под влияние ложного универсализма империй прошлого, когда в вопросах международной справедливости заменяет позитивное право моралью и этикой. С точки зрения Буша, «наши» ценности имеют значение универсальных, действительных ценностей, которые должны быть восприняты другими нациями ради их собственного блага. Ложный универсализм — это расширенный до всеобщего этноцентризм. И теории справедливой войны, которая выводится из теологической и естественно-правовой традиции, нечего ему противопоставить, даже если сегодня она предстает в коммунитаристском одеянии. Я не утверждаю, что официальные доводы американского правительства в защиту иракской войны или совершенно официально высказанные религиозные убеждения американского президента о «добре» и «зле» используют предложенные Вальцером критерии «справедливой войны». Публицист Вальцер просветил насчет этого всех. Но философ Вальцер заимствует свои критерии (какими бы разумными они ни были) только из моральных принципов и этических соображений, а не в сфере правовой теории, которая связывает оценку войны и мира с вовлеченным и беспристрастным процессом создания и применения принуждающих норм.

В этой связи меня интересует только вывод из таких подходов: критерии оценки справедливой войны нельзя перевести на язык права. Но это единственная возможность ввести постоянно оспариваемую материю «справедливости» в дискурс о легальности войн, доступной для эмпирической проверки. Предлагаемые Вальцером критерии справедливой войны (даже если их можно найти в международном гражданском праве) по природе своей критерии этико-политические. Их применение в каждом конкретном случае не поддается проверке международными судами, оно предоставлено скорее благоразумию национальных государств, привязано к их преимущественной трактовке смысла справедливости.

Но почему беспристрастная оценка конфликтов обосновывается на языке права только внутри государства, почему она юриди-

чески не учитывается в международных спорах? Это же элементарно: кто сможет определить на наднациональном уровне, действительно ли «наши» ценности заслуживают всеобщего признания или действительно ли мы беспристрастно используем универсально признанные принципы; действительно ли мы, например, не-избирательно воспринимаем спорную ситуацию, а не принимаем во внимание только значимое для нас? В этом и состоит весь смысл правового процесса: привязать наднациональные решения к условиям взаимного принятия перспективных планов и учета интересов.

Ваш «кантовский проект» оценивается очень высоко, но не превращаетесь ли вы в защитника идеи «военного гуманизма»?

Я не представляю точно контекста этого выражения, но предполагаю, что в нем есть намек на опасность нравоучений, обращенных к противнику. Как раз на международном уровне демонизация противника — вспомните об «оси зла» — не способствует разрешению конфликтов. Сегодня повсюду распространяется фундаментализм и превращает конфликты в кошмар — в Ираке, в Израиле и в других местах. Впрочем, при помощи этого аргумента Карл Шмитт на протяжении всей своей жизни защищал «недискриминирующее определение войны». Классическое международное право, таков его аргумент, рассматривало практику войны, не требующей затем правового обоснования, как легитимное средство разрешения межгосударственных конфликтов. Тем самым оно создало важную предпосылку для придания военным столкновениям цивилизованного характера. Напротив, осуждение агрессивной войны как криминальной (это закреплено в Версальском договоре) превратило любую войну в преступление, лишило это явление четких контуров; противник, подвергшийся моральному осуждению, превращается в мерзкого врага, которого следует уничтожать. Если, морализуя, стороны теряют взаимное уважение — *justus hostis*^{*}, то локальные войны вырождаются в войны тотальные.

Даже если тотальная война обращается к националистической мобилизации масс и развитию атомного оружия, этот аргумент [Шмитта] не лишен оснований. Он обосновывает и мой тезис:

^{*} Законный враг (*лат.*).

«справедливость между нациями» может быть достигнута не на путях морализации, а только благодаря правовому оформлению международных отношений. Раздоры подталкивают только к дискриминирующей оценке, особенно в тех случаях, когда одна сторона *в соответствии с собственными моральными критериями* присваивает себе право судить о мнимых преступлениях другой стороны. Такое субъективное суждение не следует путать с доказанным юридическим осуждением преступного правительства и его пособников со стороны сообщества конституционных государств, поскольку оно распространяет свою правовую защиту и на обвиняемую сторону, для которой, вплоть до доказательства противоположного, тоже действует презумпция невиновности.

Разумеется, Карл Шмитт не удовлетворился бы различием между морализированием в международных отношениях и их правовым оформлением. Для него, как и для его фашистских единомышленников, борьба, которая идет не на жизнь, а на смерть, имела свою виталистическую ауру. Поэтому Шмитт полагает, что субстанцию «политического» — самоутверждение идентичности какого-то народа или движения — невозможно нормативно обуздать и что любая попытка правового укрощения должна приводить к нравственному одичанию. Если бы легальный пацифизм имел успех, он лишил бы нас существенной среды для обновления аутентичного бытия. Эта дефиниция «политического» (в чем-то нелепая) не должна нас больше занимать.

А занимать нас должны мнимо «реалистические» предположения, которые разделяют «левые» и «правые» последователи Гоббса: право, даже в современной форме демократического конституционного государства, всегда есть только отражение и личина экономической или политической власти. При таком предположении легальный пацифизм, желающий распространить право на «естественное состояние» между государствами, выглядит всего лишь иллюзией. Однако проект Канта — конституционализация международного права — хоть и питается идеализмом, но свободен от иллюзий. Форма современного права имеет как таковое недвусмысленное моральное ядро, которое дает себя знать *in the long run** как «gentle civilizer» (Коскенниemi) — как «мягко цивилизирующая» сила — всюду, где бы ни использовались правовые ресурсы в качестве конституционно-формирующе-

* Со временем (англ.).

щей власти.

Эгалитарный универсализм, присущий праву и его подходам, оставил эмпирически доказуемые следы, по крайней мере в политической и общественной реальности Запада. Дело в том, что идея равного обращения, которая заложена как в праве народов, так и в праве государств, выполняет свою идеологическую функцию только благодаря тому, что одновременно она является и мерой для критики этой идеологии. Именно поэтому оппозиционные и освободительные движения во всем мире сегодня берут на вооружение словарь прав человека. Риторика прав человека, если она начинает служить угнетению и вытеснению, можно поймать на слове при этом злоупотреблении.

Именно как неисправимого защитника кантовского проекта вас должны глубоко разочаровывать макиавеллистские интриги, которые зачастую преобладают в практике ООН. Вы говорите об «ужасающей избирательности», с которой Совет Безопасности воспринимает и трактует события, по отношению к которым он должен был бы проявлять деятельность. Вы говорите о «бессовестном преимуществе, которым все еще пользуются национальные интересы перед глобальными обязательствами». Как необходимо изменить и реформировать институты ООН, чтобы из щита, прикрывающего обеспечение прозападных интересов и целей, она могла бы стать действительно эффективным инструментом сохранения мира?

Это большая тема. Институциональными реформами этого не достигнешь. Сегодня обсуждается состав Совета Безопасности, более соответствующий изменившемуся соотношению сил, а также ограничение права вето великих держав; конечно, это необходимо, но этого недостаточно. Позвольте мне обозначить пару точек зрения из необозримого их множества.

ООН с полным на то основанием наделена правом полного включения [новых членов]. Она открыта для всех государств, *дословно* взявших на себя обязательство выполнять Устав ООН и все связанные с ним международно-правовые декларации, совершенно независимо от того, насколько их внутренняя практика *реально* соответствует этим принципам. Поэтому, по сравнению с подлинными нормативными основаниями, существует (несмотря на формальное равноправие членов) разница в легитимации между либеральными, полуавторитарными, а подчас и деспотическими государствами-членами. Это заметно, когда, например, такое госу-

дарство, как Ливия, берет на себя председательство в Комитете по правам человека. Заслуга Джона Роулса заключается в том, что он указал на принципиальную проблему «ступенчатой легитимации». Легитимационное превосходство демократических стран, на которое в свое время возлагал надежды Кант, вряд ли поддается формализации. Но могут сложиться обычаи и практики, ориентированные на эти принципы. В этой связи очевидна необходимость реформы права вето постоянных членов Совета Безопасности.

Настоятельнейшая проблема состоит в том, что ООН ограничена в своих возможностях действовать, поскольку не обладает монополией на власть и — особенно в случаях интервенции и *nation-building** — зависит *ad-hoc*** от поддержки влиятельных государств-членов. Проблема, однако, не в отсутствии монополии на власть, — различие между конституцией и исполнительной государственной властью мы наблюдаем и в Европейском союзе, где право ЕС преодолевает национальное право, несмотря на то что национальные государства и сегодня имеют в своем распоряжении готовые к употреблению средства легитимного использования насилия. ООН ослаблена, не считая ее финансовой неустойчивости, прежде всего своей зависимостью от правительств, которые, в свою очередь, не только преследуют национальные интересы, но и добиваются одобрения их действий со стороны [своей] национальной общественности. До тех пор, пока на социально-когнитивном уровне не изменится самовосприятие тех государств-членов, которые по-прежнему считают себя суверенными актерами, нужно искать пути достижения относительного разъединения уровней принятия решений. Государства-члены могли бы, например, не ограничивая своих полномочий, распоряжаться собственными вооруженными силами, держать определенный воинский контингент специально для нужд ООН.

К амбициозной цели конституирования всемирной внутренней политики без всемирного правительства можно реально стремиться только при условии, если ООН ограничится двумя своими важнейшими функциями — сохранения мира и глобального осуществления прав человека, а политическую координацию в сферах экономики, окружающей среды, средств сообщения, охраны здоровья и т. д. передаст на промежуточный уровень институтов и систем пе-

* Строительство нации, государства (*англ.*).

** По данному случаю (*лат.*).

реговоров. Однако на сегодня этот уровень политически дееспособных *global players**, способных найти компромиссы друг с другом, занят лишь отдельными институтами типа Всемирной торговой организации. Нельзя осуществить удачную реформу ООН, если национальные государства в разных частях света не объединятся в континентальные содружества по образцу Европейского союза. Пока имеются лишь скромные подходы к этому. Здесь, в этих процессах, а не в реформе ООН заложен подлинно утопический элемент [института] мирового гражданского порядка.

На базе разделения труда внутри такой глобальной многоуровневой системы в какой-то мере возможна легитимация дееспособной ООН демократическими методами. Мировая политическая общественность до сих пор проявляла себя как некое организованное единство только в связи с уникальными событиями истории, как, например, 11 сентября. Благодаря электронным средствам связи, поразительным успехам действующих по всему миру неправительственных организаций (таких, как *Amnesty International* или *Human Rights Watch****) она может в какой-то момент получить более стабильную инфраструктуру и более высокий уровень сплоченности. В такой ситуации идея [мировой политической общественности] не более проблематична, чем мысль об учреждении «второй палаты» Генерального собрания «парламента граждан мира» (Давид Хельд) или хотя бы о расширении существующих государственных палат ради представительства граждан. Тем самым нашла бы свое символическое выражение и институциональное завершение эволюция международного права, которая происходила на протяжении многих лет. Потому что за это время не только государства, но и сами граждане стали субъектами международного права: как граждане мира они могут в случае необходимости апеллировать к праву выступать против своих собственных правительств.

Конечно, такая абстракция, как «всемирный гражданский парламент» вызывает легкое головокружение. Но, принимая во внимание ограниченные функции ООН, следует иметь в виду, что депутаты этого парламента будут представлять массы населения, не связанные между собой устойчивыми традициями, как это имеет место в политическом сообществе граждан. Вместо государственно-граж-

* Глобальные игроки (*англ.*).

*** «Международная амнистия», «На страже прав человека» (*англ.*).

данской солидарности достаточно негативного согласия, т. е. общего возмущения агрессивными попытками разжечь войну, нарушением прав человека криминальными бандами и правительствами, достаточно общего неприятия этнических чисток и геноцида.

Разумеется, неудачи и противодействия, которые придется преодолеть на пути к совершенной конституционализации, так велики, что проект может быть осуществлен только в том случае, если США, как в 1945 году, снова возьмут на себя роль локомотива, встанут во главе движения. Это не так уж невероятно, как кажется. Во-первых, это счастливый случай в мировой истории, что единственная сверхдержава является одновременно и старейшей демократией в мире. Следовательно, вопреки тому, в чем хотел бы убедить нас Каган, ей изначально близки идеи Канта о распространении норм права на международные отношения. Во-вторых, в интересах самих США сделать ООН дееспособной, прежде чем другая, менее демократическая великая держава превратится в сверхдержаву. Империи приходят и уходят. Европейский союз наконец-то объединился на основе общей политики безопасности и оборонной политики, противопоставляя неприемлемому для международного права «*pre-emptive strike*»* свой «*preventive engagement*»**; это еще один фактор влияния на формирование образа мыслей политической общественности нашего американского союзника.

Пренебрежение американского правительства по отношению к международному праву и международным договорами, грубое использование военной силы, политика лжи и шантажа вызвали волну антиамериканизма, который, в той мере, в какой он направлен против нашего нынешнего правительства, небезоснователен. Как следовало бы поступить Европе, чтобы помешать этому всемирному настраению антиамериканизма превратиться в ненависть к Западу вообще?

Антиамериканизм опасен и для самой Европы. В Германии он всегда связан с самыми реакционными движениями. Поэтому для нас важно (как во время вьетнамской войны) выступать против политики правительства США плечом к плечу с внутриамериканской оппозицией. Если мы сможем найти связи с движением про-

* Упреждающий удар (англ.).

** Привентивные меры (англ.).

теста в самих Соединенных Штатах, то и контрпродуктивный упрек в антиамериканизме, с которым мы сейчас сталкиваемся, сойдет на нет. Совсем другое — антимодернистские эмоции против западного мира в целом. В этом отношении уместна самокритика — давайте самокритично встанем на защиту достижений западного модерна, который демонстрирует открытость и готовность учиться, а самое главное, преодолевает идиотское отождествление демократического строя и либерального общества с диким капитализмом. Мы должны, с одной стороны, недвусмысленно отмежеваться от фундаментализма, в том числе от христианского и иудейского фундаментализма; а с другой стороны, нужно осознавать, что фундаментализм — порождение отторгаемой модернизации, в промахах которой в решающей степени повинны наша колониальная история и неудачи деколонизации. В противовес фундаменталистской ограниченности мы можем показать, что справедливая критика в отношении Запада заимствует масштабы своих дискурсов у двухсотлетней [истории] самокритики Запада.

Недавно два политических проекта были раскромсаны дробильной машиной войны и терроризма: первый — так называемая «goad tar», которая в перспективе должна была привести к миру между израильянами и палестинцами; второй — империалистический сценарий Чейни, Рамсфильда, Ричи и Буша. Сценарий для конфликта в Израиле должен был бы создаваться одновременно со сценарием реконструкции всего Ближнего Востока. Но политика США соединила антиамериканизм с антисемитизмом. Сегодня антиамериканизм питает и старые формы смертоносного антисемитизма. Как обезопасить эту гремучую смесь?*

Это в особенности является проблемой для Германии. Сегодня в стране открылись шлюзы для нарциссического любования собственными жертвами, разрушена существовавшая на протяжении десятилетий цензура установок обывателей со стороны «официальной позиции». Вы совершенно верно описываете эту смесь, но мы нейтрализуем ее только при том условии, если удастся очистить оправданную критику фатальной картины миропорядка, создаваемого Бушем, от всех остальных антиамериканских примесей. Как только *другая Америка* вновь обретет зримые контуры, потеряет почву и тот антиамериканизм, который служит лишь

* «Дорожная карта» (англ.).

IV. Кантовский проект и расколотый Запад

предлогом для антисемитизма.

* Я благодарю Хауке Брунхорст за интересные дискуссии во время подготовки текста и Арним фон Богданди — за полезные комментарии к предпоследней редакции.

[Ранее не публиковалось.]

¹ *Fassbender B.* The United Nations Charter as Constitution of the International Community // *Columbia Journal of Transnational Law*. Vol. 36. 1998. P. 529–619;

8. Есть ли еще шансы для конституционализации международного права?*

Введение

Ко времени возникновения системы европейской государственности философия в лице Франциско Соареса, Гуго Гроция и Самуэля Пуфендорфа еще играла роль застрельщика в деле создания международного права эпохи модерна. Второй раз философия взяла на себя эту роль, когда юридически запутанные международные отношения стали разыгрывать на уровне так называемых кабинетных войн. Благодаря своему проекту «всемирного гражданского состояния» Кант сделал решающий шаг, позволивший выйти за границы международного права, ориентированного исключительно на государства. Между тем международное право стало чем-то большим, чем просто юридической дисциплиной; после двух мировых войн конституционализирование международного права реально продвигалось в направлении всемирно-гражданского состояния, обозначенном Кантом, и обрело институциональные формы в международных конституциях, организациях и практиках¹.

После окончания периода биполярного мира и превращения США в единственную доминирующую мировую державу вырисовывается только одна альтернатива перспективам развития мирового гражданского порядка. Мир, контролируемый национальными государствами, сегодня находится в состоянии перехода к постнациональной констелляции мирового общества. Государства теряют свою автономию в той мере, в какой они вовлекаются в горизонтальные сетевые связи этого глобального общества². И в этой ситуации идея Канта о всемирном гражданском порядке более не противоречит традиционным установкам «реалистов»,

Frowein J.A. Konstitutionalisierung des Völkerrechts // Völkerrecht und Internationales Recht in einem sich globalisierenden internationalen System. Bericht der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht. Bd. 39. Heidelberg, 2000. S. 427–447. См. также: *Brunkhorst H.* Solidarität. Von der Bürgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossenschaft. Frankfurt a. M., 2002; *Bryde B.O.* Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationalisierung des Verfassungsrechts // Der Staat. N 42. 2003. S. 62–75.

² См.: *Czempiel E.O.* Weltpolitik im Umbruch. München, 1993.

³ См.: *Czempiel E.O.* Neue Sicherheit in Europa. Eine Kritik an Neorealismus und Realpolitik. Frankfurt a. M., 2002.

которые исходят из социально-онтологического превосходства власти над правом. Однако сегодня появились новые противники; они выступают от имени либерального этоса мира и хотели бы поместить его *на место* права.

С точки зрения политического реализма нормативное укрощение политической власти посредством права возможно только внутри границ суверенного государства, т. е. государства, которое в своем существовании опирается на способность к самоутверждению через насилие. При таких предпосылках международному праву изначально отказано в праве юридически санкционировать собственные решения. Диспут между сторонниками политического идеализма Канта и реалистами — сторонниками позиции Карла Шмитта о границах правового оформления международных отношений³ — распространяется сегодня на новое проблемное поле более глубоких конфликтов. Проблематичным представляется сам проект нового либерального мирового порядка под эгидой *Pax Americana**, создаваемый стратегами правительства США. Вопрос в том, может ли *этизация* мировой политики, определяемая со стороны сверхдержавы, заменить *правовое оформление* международных отношений.

В центре прошлой полемики между [политическими] идеалистами и [политическими] реалистами был вопрос: возможна ли в принципе справедливость в отношениях между нациями⁴; в современных спорах расхождения связаны с тем, является ли еще право адекватным средством как для достижения ясных целей сохранения мира и международной безопасности, так и для осуществления демократии и прав человека во всем мире. Спорен вопрос, каким путем эти цели можно реализовать скорее — с помощью обоснованных в правовом отношении действий всемирной организации [ООН], не обладающей, однако, реальной силой и избирательной в своих решениях, или с помощью односторонней политики наведения порядка, проводимой доброжелательным гегемоном. Когда в Багдаде сбросили с постаментов статую Саддама, казалось, что вопрос фактически уже решен. Правительство США дважды проигнорировало международное право — провозгласив собственную стратегию национальной безопасности в сентябре 2002 года и начав вторжение в Ирак в марте 2003 года. США отстранили ООН для того, чтобы обеспечить преимущест-

⁴ См.: Pangle Th.L. und Ahrensorf P.J. Justice among Nations. Lawrence, Kansas, 1999.

во собственным этически фундированным национальным интересам — пусть даже вопреки протестам своих союзников. Маргинализация ООН, обусловленная произволом сверхдержавы, принявшей решение о начале войны, драматически поставила во главу угла проблему значимости права.

Закрадывается сомнение: а не содержат ли эти имперские действия некую фальшь с нормативной точки зрения? Возможно, ложной является предпосылка: американский мандат позволил более эффективно достичь тех целей, которые преследовала и ООН, но вполсилы и не очень успешно. Или и в этом «контрафактно» принимаемом случае мы должны придерживаться проекта конституционализации международного права, уже давно работающего [в мировой политике], и содействовать всему, что могло бы подвинуть будущее правительство США вспомнить о той всемирно-исторической миссии, которую после окончания разрушительных мировых войн президенты Вильсон и Рузвельт декларировали как миссию американской нации. Кантовский проект может найти продолжение только в том случае, если США вернуться к интернационализму, который они представляли после 1918 и после 1945 годов, если они снова возьмут на себя историческую роль первопроходцев на пути эволюции международного права к «всемирному гражданскому состоянию».

Ситуация в мире, отмеченная терроризмом и войной, неравномерным экономическим развитием и еще более осложненная трагическими последствиями иракской войны, заставляет снова вернуться к размышлениям над этой темой. Конечно, сегодня философия в качестве арьергарда в лучшем случае просто проясняет на понятийном уровне общее содержание профессиональных дискуссий, которые ведут между собой специалисты по международному праву и политологии. И если политология описывает состояние международных отношений, а юриспруденция выносит свои оценки понятиям, содержанию и значению существующего международного права, то философия может попытаться, в контексте существующих констелляций и действующих норм, разъяснить некоторые принципиальные аспекты развития права в целом.

⁵ Ср.: «От людей можно ожидать и требовать... чтобы они увидели необходимость сделать войну, самое большое препятствие для моральности... прежде всего более человеческой, затем все более редкой и, наконец, сумели бы полностью устранить коллективную войну» (*Кант И.* Спор факультетов // Соч.: В 8 т. М., 1994. Т. 7. С. 111).

⁶ *Кант И.* К вечному миру // Там же. С. 22.

Только так философия может внести свой вклад в обсуждение вопроса о том, имеет ли проект Канта какое-то будущее. В заключительной части работы я снова вернусь к этому вопросу, в первой же части мне хотелось бы освободить идею всемирного гражданского состояния от понятийных привязок к конкретной форме мировой республики; а во второй, исторической части — исследовать тенденции, которые противодействовали в прошлом и противостоят сегодня пониманию конституционализации международного права как блага [для современного мира].

I. Политически устроенное мировое общество против мировой республики

1. Классическое международное право и «суверенное равенство»

Кант осуждает захватническую войну⁵ и ставит под сомнение право суверенного государства вести войну — *jus ad bellum*. Такое «право», в котором, собственно, ничего «нельзя мыслить»⁶, составляет структурообразующее ядро классического международного права. В этом своде правил, сложившихся на основе обычаев и договоренностей, отразились контуры европейской системы государств, окончательно оформившейся в результате Вестфальского мира и существовавшей до 1914 года. Субъектами международного права признавались (за исключением особого случая — Святого Престола) только государства, а до середины XIX века — только европейские государства. Поэтому классическое международное право, созданное для исключительного участия «наций» в его использовании, было конститутивным (в буквальном смысле этого слова) и для «межнациональных» отношений. Национальные государства представлены участниками стратегической игры, потому что:

- они обладают той мерой реальной независимости, которая позволяет им принимать решения, исходя из собственных предпочтений, и действовать автономно;
- следуя императивам «борьба с угрозами» и «самоутвержде-

⁷ *Kunig Ph. Völkerrecht und staatliches Recht // Graf Vitzthum W. Völkerrecht. 2. Aufl. Berlin, 2001. S. 87–160.*

ние», национальные государства исходят исключительно из собственных предпочтений (понятых в качестве «национальных интересов»); то же самое касается обеспечения безопасности граждан [национальных государств];

- каждое национальное государство может вступать в коалицию с любым другим национальным государством, и все они конкурируют, опираясь на военный потенциал, ради усиления своей политической власти [в мире].

Международное право устанавливает правила игры⁷ и определяет:

- (а) качества [государственных институтов], которые необходимы для участников: суверенное государство должно эффективно контролировать свои социальные и территориальные границы, а также поддерживать в их пределах право и порядок;
- (б) условия доступа [к мировой политике]: суверенитет отдельного государства базируется на международном признании;
- (с) и сам статус: суверенное государство может заключать договоры с другими государствами. В случае конфликта оно вправе объявить другим государствам войну без разъяснения причин (*jus ad bellum*), но ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела других государств (запрет на интервенцию). Из этих основоположений получается ряд следствий:
 - не существует супранациональной инстанции, которая санкционирует нарушения международного права и наказывает за них;
 - суверенное государство может нарушить нормы благоразумия и эффективности, но оно не может нарушить норм морали; его образ действий рассматривают как морально нейтральный;
 - иммунитет, которым пользуется государство, распространяется на его представителей, чиновников и функционеров;
 - суверенное государство оставляет за собой право юридического преследования за преступления, которые были совершены во время войны (в соответствии с *jus*

in bello);

- стороны, ведущие войну друг против друга, должны оставаться нейтральными по отношению к третьим странам.

Нормативное содержание классического международного права исчерпывается установлением равенства суверенных государств, которое (независимо от различий в численности населения, размеров территории, реальной политической или экономической мощи) основывается на обоюдном взаимном признании субъектов международного права. Такое «суверенное равенство» куплено ценой признания войны в качестве механизма урегулирования конфликтов, т. е. ценой высвобождения военного насилия. Это исключает введение вышестоящих инстанций для беспристрастного правоприменения и правоосуществления. Этим объясняется «мягкий» характер права, действенность которого в конечном счете зависит от суверенной воли сторон, заключающих договор. Действенность международных соглашений принципиально обусловлена возможностью для суверенных партнеров в случае надобности заменить право политикой.

В классическом международном праве политическая власть, положенная в его основание, рефлектирует о себе иначе, чем она это делает во внутригосударственном праве. Государственная власть, которая поднимает значение прав граждан, сама опирается на право. На национальном уровне идет процесс *взаимного проникновения* государственной власти, которая окончательно конституируется только в формах права, и права, которое указывает на власть государства применять санкции. Такое взаимное проникновение права и власти отсутствует в международной сфере. Здесь сохраняется асимметричное отношение между правом и властью, потому что международно-правовое регулирование соответствующих основополагающих констелляций между государствами — это скорее их отражение, а не нормативное упорядочивание; право формирует общение между суверенными государствами, но не умиряет его.

Поэтому классическое международное право исходя из собст-

⁸ См.: Кант И. О мнимом праве на человеколюбие // Соч.: В 8 т. М., 1994. Т. 8. С. 260–262.

⁹ См.: Кант И. К вечному миру // Там же. Т. 7. С. 8.

венных предпосылок может оказывать стабилизирующее воздействие лишь в той мере, в какой формальное уравнивание субъектов международного права обеспечено фактически достигнутым политическим равновесием власти. При этом всегда подразумевается, что стороны, участвующие в войне, в общем-то придерживаются молчаливого согласия относительно морально табуированных границ применения насилия в ходе военных действий. Кант оспаривает оба допущения, исходя из эмпирических оснований. Пример раздела Польши всегда перед глазами, он показывает «химеричность» миротворческой функции равновесия сил⁸. Моральный скандал — это не только жестокости «карающих войн и войн на уничтожение». Уже кабинетные войны, проводимые с регулярными войсками, несовместимы «с правами человека, присущими каждому из нас», потому что государство, которое нанимает своих граждан для того, «чтобы они убивали или были убиты», низводит их до простых машин⁹.

2. Мир как импликация закономерной свободы

Цель ликвидировать войны — это требование разума. Практический разум налагает моральный запрет (*veto*) прежде всего на систематические убийства и умерщвления: «Никакой войны не должно быть; ни войны между мной и тобой в естественном состоянии, ни войны между нами как государствами, которые внутренне хотя и находятся в законном состоянии, но внешне (во взаимоотношениях) — в состоянии беззакония»¹⁰.

Однако для Канта право является не просто подходящим *средством* для поддержания мира между государствами. Скорее, мир между нациями он понимает изначально как справедливый мир (*Rechtsfrieden*)¹¹.

Как и Гоббс, Кант настаивает на том, что существует *понятийная* связь между правом и практикой обеспечения и поддержания

¹⁰ См.: Кант И. Учение о праве // Там же. Т.6. С. 391. См. также с. 388–390.

¹¹ См.: Gerhardt V. Kants Entwurf «Zum ewigen Frieden». Darmstadt, 1995.

¹² См.: Кант И. Учение о праве. С. 388–389.

мира. Однако, в отличие от Гоббса, Кант не сводит правовое умиротворение общества к парадигматическому обмену послушания подчинившихся праву [граждан] на гарантии [их] защиты со стороны государства. С позиций республиканца функция права по обеспечению мира ограничивается функцией правового состояния [общества] по обеспечению свободы; и это правовое состояние граждане добровольно могут признать легитимным. Космополитическое расширение правового состояния, которое изначально учреждалось как «состояние внутри государства», желательно и значимо не только как *следствие* стремления к вечному миру, но и как требование практического разума. Поэтому поддержание мира в масштабах всего мира на длительную перспективу представляет собой не отдельный момент, а саму конечную цель учения о праве. Идея «мирной, хотя еще не дружественной общности всех народов» — это принцип права, а не только требование морали¹². Всемирно-гражданское состояние *есть* надолго установленное состояние мира. Идея всемирно-гражданского устройства, гарантирующего «объединение всех народов под эгидой публичных законов», обретает значение «*истинного*», императивного, а не просто временного состояния мира.

Эта понятийная привязка телоса мира к правовому принципу объясняет и «всемирно-гражданскую цель» философии истории, т. е. ту определяющую эвристическую точку зрения, которой придерживался Кант, объясняя исторический процесс. «Проблема создания совершенного гражданского устройства зависит от проблемы установления законосообразных внешних отношений между государствами и без решения этой последней не может быть решена»¹³.

Термин «гражданское устройство (Verfassung)» несет на себе решающую смысловую нагрузку: международное право, которое регулирует отношения между государствами, необходимо отделять от устройства самой общности государств. Только в этом случае государства и их граждане вступают между собой в «зако-

¹³ Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч.: В 8 т. М., 1994. Т. 8. С. 20.

¹⁴ См.: Кант И. Учение о праве. С. 304.

¹⁵ Maus I. Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Frankfurt a. M., 1992. S. 176 ff.

¹⁶ Habermas J. Faktizität und Geltung. Frankfurt a. M., 1992. S. 167–169.

¹⁷ Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. С. 20–21.

носообразное отношение».

«Законосообразными» Кант называет отношения, при которых свобода каждого индивида, вместе со свободой каждого другого индивида, подчиняется всеобщему закону¹⁴. Кант разделяет идею Руссо о материальности понятия закона¹⁵. Законы отвечают условию прагматически понятой (а ни в коем случае не семантически истолкованной) всеобщности тогда, когда они осуществляются благодаря народному представительству, в результате их обсуждения общественностью [страны]¹⁶. Угрозу деспотизма, которую несут все данные властью законы, можно предотвратить только республиканской практикой формирования свободной воли, свободного мнения всех, кого эта угроза потенциально затрагивает. Точно так же и законы интернационального сообщества будут *в равной степени* учитывать интересы всех государств (независимо от величины их территории, численности населения, благосостояния, политической мощи и экономического потенциала), если они станут выражением осознанного [коллективного] опыта их освоения и в этом отношении — выражением «объединенной воли»¹⁷.

Кант проводит аналогию с учением о «государственно-гражданском устройстве» для того, чтобы конкретизировать общую идею «всемирно-гражданского устройства», связав ее с понятием «всеобщее государство народов». В своем смелом проекте космополитического порядка Кант вдохновлялся революционными конституционными актами своего времени. Республики, возникшие в результате Американской и Французской революций, были первыми и для того времени единственными примерами легитимности гражданского законодательства, где «все решают обо всем», с тем «чтобы каждый принял решение о себе самом, и это решение не было бы несправедливым и не правовым»¹⁸. Из этой перспективы и вырастает *организованная (verfasste)* интернациональная общность — ее можно представить только как «республику республик», как «республиканизм всех государств»¹⁹ или как «всемирную республику»²⁰. Поэтому «гражданское устройство», ставшее действительностью в ходе революций, обретает [у Канта] характер образца, модели перехода от классического международного права

¹⁴ Кант И. О поговорке «Может, это и верно в теории, но не годится для практики» // Соч.: В 8 т. Т. 8. С. 204.

¹⁹ Кант И. Учение о праве. С. 390.

²⁰ Кант И. К вечному миру. С. 16.

к всемирно-гражданскому праву. Это и подтолкнуло Канта к конкретизации (в чем-то поспешной) универсальной идеи об «общности государств, определенным образом упорядоченной и организованной».

3. От государственного права к праву гражданина мира

Прежде чем перейти к рассмотрению проблематичных последствий такого рода тесного управления, мне хотелось бы прояснить космополитический смысл самой конструкции «мировая республика». Она делает войну как легитимное средство разрешения конфликта невозможной *именно в качестве* войны, потому что в пространстве общности, включающей весь мир, не может существовать «внешних» конфликтов. То, что когда-то представляло собой военное столкновение, в границах глобального правового порядка приобретает качество защиты от опасности и качество уголовного преследования. Конечно, идея всемирной республики не исчерпывается представлением о супранациональном правовом порядке, который подчиняет себе государственную власть, по аналогии с тем, как гражданское или государственное право подчиняет себе отдельных людей²¹. Какая-нибудь «универсальная монархия» тоже могла бы добиться такого правового умиротворения мирового сообщества с помощью репрессивных средств деспотического монополиста власти. Идея всемирно-гражданского состояния более амбициозна, потому что она переносит практику позитивного осуществления гражданских прав, а также прав человека с национального на международный уровень.

Инновационное ядро этой идеи — в [заданной] последовательности преобразования международного права как права *государств* во всемирно-гражданское право как право *индивидов*. Конкретные люди выступают субъектами права не только потому, что они являются гражданами своих государств, но и в качестве членов всемирно-гражданской общности, подчиняющейся единому

²¹ См.: *Кант И.* О поговорке «Может, это и верно в теории, но не годится для практики». С. 201–202.

²² См. там же. С. 201. А в трактате «К вечному миру» Кант связывает идею всемирного международного права с идеей личности, которую можно рассматривать как гражданина всеобщего государства людей (см.: *Кант И.* К вечному миру. С. 37–48).

принципу²². Декларированные права человека и гражданина должны соблюдаться для каждого индивида и посредством международных отношений. Суверенные государства, объединяющиеся в одно «великое тело государства», покупают право своих граждан выступать гражданами мира ценой собственной медиатизации. Принимая свой статус членов в «республике республик», эти государства отказываются от возможности заменить право политикой в рамках отношений с другими государствами-членами. *Превращение международных отношений в род государственных* означает, что право полностью пронизывает и трансформирует политическую власть также и в пространстве межгосударственных отношений. Исчезает различие между внутренним и внешним суверенитетом [власти]; исчезает не только из-за глобальных масштабов, которые приобретает государство народов, но и в силу нормативных причин. Объединительная сила республиканской конституции разрушает саму «субстанцию» власти, спонтанно стремящейся к самоутверждению вовне. «Политическое» в смысле насилия государственной исполнительной власти, как бы сохраняющегося «за спиной» права, теряет на международной арене последние привилегии произвола.

Кант до конца придерживался *идеи* окончательной конституционализации международного права в форме [конституции] всемирной республики. Поэтому весьма непонятно, почему, несмотря на это он вводит менее жесткую конструкцию союза народов и свои надежды возлагает на добровольную ассоциацию государств, стремящихся к миру, но охраняющих собственный суверенитет. Вот пресловутое место, где он обосновывает этот шаг: «В соответствии с разумом в отношениях государств между собой не может существовать никакого другого пути выйти из беззаконного состояния постоянной войны, кроме как отречься, подобно отдельным людям, от своей дикой (беззаконной) свободы, приспособиться к публичным принудительным законам и образовать таким путем (безусловно, постоянно расширяющееся) *государство* народов... которое в конце концов охватило бы все народы Земли. Но, исходя из своего понятия международного пра-

²³ Кант И. К вечному миру. С. 22–23.

²⁴ На эту мысль меня натолкнула работа Т. Маккарти. См.: *McCarthy Th. On Reconciling Cosmopolitan Unity and National Diversity*// Greiff P. de, Cronin C. (Eds.). *Global Justice and Transnational Politics*. Cambridge., Mass., 2002. P. 235–274.

ва, они решительно не хотят этого... Поэтому не позитивная идея *мировой республики*, а (чтобы не все было потеряно) лишь негативный суррогат *союза*, устраняющего войны, постоянно и непрерывно расширяющегося, может сдерживать поток антиправовых враждебных намерений, сохраняя, однако, постоянную опасность их проявления»²³.

С проектом союза народов связывается представление о федерации ведущих торговлю республик, о федерации, которая постоянно расширяется; республики, которые в нее входят, предусматривают для себя и возможность выхода; но все [члены федерации] отказываются от наступательных войн и осознают свою моральную обязанность разрешать конфликты, возникающие между ними, перед лицом третейского суда. Этим проектом постоянного «конгресса государств», который спустя два десятилетия обрел в лице «Священного союза» совершенно другую, фактически антиреволюционную форму, Кант, однако, не опровергает саму идею всемирно-гражданского состояния²⁴. Он по-прежнему ориентируется на ход истории, который постепенно приближается к цели создания всемирно-гражданского устройства [мира]; движение в этом направлении предполагает обуздание военного насилия средствами международного права, дискриминацию захватнических войн. Но сами народы еще не созрели, они еще нуждаются в воспитании. Для *эмпирического* наблюдения относительно того, что национальные государства настаивают на своем суверенитете, что они «совсем» не «хотят» отказываться от свободы действий, предоставляемой им классическим международным правом, мы и сегодня найдем все новые и новые подтверждения. Но вряд ли они могут стать достаточным основанием для отказа от самой *идеи*.

Кант реагировал на такого рода историческое торможение, но его реакция не сводится к введению «суррогата». Он скорее занят тем, чтобы ввести саму идею с точки зрения философии истории в наивозможно плотный контекст *противоборствующих тенденций*²⁵. Известно, что свои надежды он связывает прежде всего с тремя долгосрочно действующими факторами:

²³ Подробнее об этом см.: *Habermas J.* Kants Idee des ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von 200 Jahren // ders. Die Einbeziehung des Anderen. Frankfurt a. M., 1996. S. 192–236; здесь S. 199–207.

²⁶ См.: *Кант И.* К вечному миру. С. 32–35.

- мирной природой республик, из которых образуется авангард союза народов;
- миротворческим потенциалом свободной торговли, который делает государственных участников [международных отношений] все более связанными растущей взаимозависимостью мирового рынка и принуждает тем самым к кооперации и взаимодействию; а также с
- критической функцией мировой общественности, осознанной [Кантом] в ее генезисе, которая позволяет мобилизовать совесть и политическое участие граждан в масштабах всего мира, потому что нарушение прав человека в одной точке земного шара ощущается всеми людьми на земле²⁶.

Но если долгосрочная перспектива исторического процесса не заставляет переосмысливать саму идею [всемирного гражданского состояния] и если она адекватно выражена в проекте всемирной республики, построенной по принципу федерации, то почему сам Кант впоследствии сосредоточился на проекте союза народов?

4. Почему возник «суррогат» союза народов?

Предложение Канта рассматривать *союз* народов как суррогат *государства* народов можно рассматривать как его реакцию на трудности скорее понятийного, чем эмпирического порядка. И это именно те проблемы, на примере которых мы можем больше всего научиться в плане исследования процессов конституционализации международного права, фактически продвигающихся вперед, но вновь и вновь подвергающихся опасности. Эти проблемы свидетельствуют о том, что Кант воспринимал тщательно обоснованную им идею развития международного права, ориентированного на государства, до уровня всемирного гражданского права недостаточно абстрактно. Он так тесно связал ее с идеей о всемирной республике, или «государстве народов», что этот концепт можно только скомпрометировать, если говорить об асимметричном распределении власти [в мире] и неуправляемой сложности мирового общества перед лицом больших социальных потрясений

²⁷ Кант И. К вечному миру. С.27.

и культурных расколов.

Кант, обосновывая свой проект союза народов, преследовал определенную цель: идея государства народов при ближайшем рассмотрении оказывается неустойчивой; «это был бы *союз народов*, который, однако, не должен был бы быть государством народов. Последнее означало бы противоречие, ибо всякое государство содержит в себе отношение *высшего* (законодателя) к *низшему* (повинующемуся, т. е. народу). Многие народы в государстве (так как здесь мы рассматриваем право *народов* по отношению друг к другу, поскольку они образуют отдельные государства и не должны быть слиты в одно государство) образовали бы только один народ, что противоречит предпосылке»²⁷. В этом тексте Кант рассматривает «государства» не только как ассоциации равных и свободных граждан (что вытекает из индивидуалистической трактовки права), но и с политико-этических позиций — как национальные государства, т. е. как политические общности «народов» (это слово Кант выделяет курсивом), которые отличаются друг от друга по языку, религии и образу жизни. Теряя суверенитет своих государств, народы могут потерять и национальную независимость, которую они завоевали, следовательно, опасность угрожает и автономии своеобразных коллективных форм жизни народов. Если так прочесть [кантовский текст], то «противоречие» состоит в том, что граждане всемирной республики должны заплатить за гарантии мира и гражданской свободы ценой потери той субстанциональной свободы, которой они обладают, если принадлежат народу, организованному в национальное государство.

Разумеется, это мнимое противоречие, над которым бились поколения ученых — интерпретаторов Канта²⁸, можно преодолеть, если исследовать предпосылки, которые положены в основу аргументации. Кант имел перед глазами образец централизован-

²⁸ См. об этом: I. Kant: Zum Ewigen Frieden. Berlin, 1995; далее: *Gerhardt V.* I. Kants Entwurf «Zum ewigen Frieden» // а.а.О.; *Brandt R.* Historisch-kritische Beobachtungen zu Kants Friedensschrift // *Merkel R.* und *Wittmann R.* (Hrsg.). Zum Ewigen Frieden. Frankfurt a. M., 1996. S. 12–30; *Budelacci O.* Kants Friedensprogramm. Bamberg, 2003.

²⁹ *Kersting W.* Globale Rechtsordnung oder weltweite Verteilungsgerechtigkeit? // ders. Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend. Frankfurt a. M., 1997. S. 243–315; здесь S. 269.

³⁰ *Oeter St.* Souveränität und Demokratie als Problem der Verfassungsentwicklung der Europäischen Union // *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.* Jg. 55. H. 3. S. 659–712.

ной Французской республики, без всякой нужды испытывая понятийные затруднения с догмой неделимости государственного суверенитета²⁹. Хотя в конституционном государстве, где главенствует принцип разделения властей, «вся власть — от народа», власть разделена уже изначально. Народ не может властвовать непосредственно, он осуществляет свою власть в государстве (как это обозначено в статье 20, параграфе 2 Конституции) через выборы и голосование, через особые законодательные органы, исполнительную власть и судебное решение. На основе такого «процедурного понятия» народного суверенитета возникают параллельные цепи легитимации, которые срабатывают на уровне государств — членов многоуровневой системы, организованной по федеративному принципу; зачастую это состояние без всякой на то причины путают с состоянием псевдоединства, подчиняющегося власти суверенного народа³⁰. Эту концепцию «ущемленного» народного суверенитета Кант мог бы соотнести с моделью США и уяснить для себя, что «народы» независимых государств, которые ограничивают свой суверенитет, расширяя полномочия союзного правительства, не должны терять свою идентичность и культурное своеобразие.

Правда, эта концепция тоже не совсем устраняет сомнение в том, что народы, «обособившиеся» в своей религии или языке, смогут «переплавиться» в [котле] всемирной республики. На заднем плане остается что-то наподобие страха, который испытывает Фуко перед процессом «нормализации», если допустить, будто Кант действительно полагал, что в мировом, т. е. очень сложном, обществе право и закон можно реализовать только с помощью «бездушного деспотизма». В опасении, что и федеративно устроенная мировая республика, как всегда, будет способствовать сглаживанию культурных и общественных различий, коренится принципиальное возражение, что глобальному «государству народов» по функциональным причинам присуща «непреодолимая склонность» вырождаться в «универсальную монархию». Так в конечном счете обозначена альтернатива между мировым господством субъекта, обладающего монополией на власть и правом управлять, и существующей системой множества суверенных государств; эта альтернатива беспокоила Канта, из нее он искал выход, создавая свою замещающую концепцию

³¹ Ср. заключительные страницы «Учения о праве» Канта (S. 478).

«союза народов».

5. Дезориентирующие аналогии «естественного состояния»

Это дает повод задуматься о правильности постановки самой альтернативы. Кант приходит к альтернативе всемирной республики, или мирового правительства, путем аналогии, которая подталкивает образование понятий в направлении поспешно конкретизированного определения хорошо обоснованной идеи всемирного гражданского состояния. Состояние анархии в отношениях между суверенными государствами наводит на его сравнение с «естественным состоянием», хорошо знакомым понятием из истории и теории права, состоянием, предшествующим всем формам социализации индивидов³¹. Общественный договор указывает как на возможный выход из этой мучительной ситуации вечной неуверенности на переход к государственно организованной совместной жизни граждан. Сегодня — вот суть рассуждений Канта — государства должны снова искать аналогичный выход из столь же невыносимого естественного состояния³². Как когда-то индивиды, пожертвовав своей естественной свободой, объединились под давлением необходимости в государственно-организованную общность, так и сегодня государства должны, пожертвовав своим суверенитетом, достигнуть состояния «всемирно-гражданской общности, подчиняющейся единому верховному руководству». И как в первом случае решением проблемы стало государство, так и сейчас государство государств — всемирное государство — позволит разрешить новые коллизии.

Однако эта аналогия, даже если мы исследуем ее в контексте теоретико-правовых предпосылок самого Канта, заводит в тупик³³. В отличие от индивидов, пребывающих в естественном состоянии, граждане естественно конкурирующих между собой государств изначально наслаждаются статусом, гарантирующим им права и свободы (какими бы ограниченными они ни были). Это несовпа-

³² См.: *Кант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. С. 23–25.

³³ Этим суждением я обязан работе П.Клейнгельда (*Kleingeld P.* Kant's Theory of Peace. Ms., 2004).

дение обусловлено тем, что граждане государства неизбежно проходят долгий процесс политического образования. Считая себя обладателями политического блага в форме гарантированных прав свобод, они готовы рискнуть этим благом, если открываются возможности как-то ограничить суверенитет государственной власти, которая и обеспечивает это правовое состояние. Необразованным жителям, пребывающим в грубом естественном состоянии [человеческой общности], нечего терять, кроме страха и ужасов столкновения их естественных, т. е. негарантированных, свобод. Поэтому путь, который должны пройти государства и их граждане при переходе от классического международного права к всемирному гражданскому состоянию, является *не аналогом, а дополнением* того пути, который прошли граждане демократических правовых государств, постоянно подытоживая результаты процесса правового оформления первоначально разнузданно действовавшей государственной власти.

Идея общественного договора — это попытка понятийной реконструкции процессов возникновения государства как организованной формы легитимного господства. Государственно организованное господство предполагает осуществление политической власти на основе применения принудительного права. Речь идет о логике формирования государственного господства из элементов естественно сложившейся, т. е. преимущественно «дополитической», власти приказа, с одной стороны, и структуры регуляции, интегративной силы права, сложившегося метасоциально, — с другой стороны³⁴. Только из соединения обоих компонентов и формируется *политическая* власть как источник объединяющих решений. Политическая власть констатируется в формах права. Стабилизируя ожидания от тех или иных действий (и тем самым выполняя свою собственную функцию), право предоставляет в распоряжение власти свою регулятивную структуру. В этом отношении право служит власти в качестве организационного средства. Кроме того, право располагает и ресурсом справедливости, который позволяет легитимировать власть. И если политическая власть во многом зависит от интегративных возможностей права, то право, наоборот, обязано своим принудительным характером власти государственной санкции. Не существует никаких правовых гарантий без возможности обжалования подконтрольных ин-

³⁴ Habermas J. Faktizität und Geltung. Frankfurt a. M., 1992. S. 167–187.

³⁵ Maus I. Zur Aufklärung der Demokratietheorie. S. 176.

струментов насилия как резерва обеспечения господства.

В XVII веке возникает модерное «право разума» как форма осмысления государственной системы, которая после окончания религиозных войн нашла мировоззренчески нейтральные основы легитимации. «Право разума» эпохи модерна критически анализирует понятийные соотношения между правом и властью, чтобы раскрыть разумное и эгалитарное содержание, изначально заложенное в правовой оформленности государства и политической власти. Руссо и Кант расшифровали это скрытое содержание права, которое выполняло для авторитарной государственной власти только политическую и инструментальную функции, с помощью своего инновативного понятия «автономность». Они свели легитимирующую функцию *формы* права, постепенно ставшего исключительно позитивным правом, к нормативному ядру не только семантически понятого понятия «закон», а в конечном счете — к создающим легитимность действиям демократического законодательства³⁵. Эта разумно-правовая концепция позволяет увидеть в форме современного права собственный нормативный смысл, который и давал возможность *рационализировать* политическое господство в среде права, вместо того чтобы придавать этому господству лишь некое *рациональное выражение*. Основным пунктом реконструкции, какой ее осуществляет «право разума», является доказательство того, что в политической власти, на основе ее правовой по форме конституции, закладывается понятийное ядро правового оформления «иррациональной», т. е. беспорядочной, децизионистской, власти государства.

Взаимное проникновение позитивного права и политической власти нацелено не на легальное господство, как таковое, а на господство, *организованное* по принципам демократии и правового государства. *Terminus ad quem**, характеризующий придание политическому господству правовой формы, — это конституция, которую дает себе сама политическая общность свободных и равных граждан. Любое «государство» является иерархически выстроенной и организованной единицей, способной к деятельности по осуществлению политической власти. «Конституция» же, напротив, нормирует средствами позитивного права горизонтальное обобществление, вовлеченность граждан в социум; она фиксирует основополагающие права, с которыми взаимно согласны члены

* Понятие, при каковом... (*лат.*).

самоуправляемой ассоциации свободных и обладающих равными правами граждан. В этом смысле превращение субстанции господства государства в формы и институты республиканского права направлено на телос «конституции».

Процессы конституционализации государственной власти придают законную силу процессам *преобразования исходных соотношений права*, инструментализированного благодаря власти. В соответствии с менталитетом конституционализма «любая власть» есть автономная, т. е. разумно сформулированная, воля гражданского общества, организованного по республиканскому принципу (короче, «власть — от народа»). Таким образом, по логике общественного договора рационализация внутригосударственного господства происходит в рамках государственной власти, конституированной в правовом отношении, но сама эта «субстанциональная» государственная власть еще не обрела правовой формы, и его иррациональное ядро исчезнет только в демократическом процессе полностью учрежденного конституционного государственного строя. Этот контекст основных понятий указывает на то, что переход от международного к всемирному гражданскому праву не может совершаться прямолинейно, как это виделось Канту.

6. Государственная власть и конституция

Вряд ли стоит рассматривать конституционализацию международного права как логическое продолжение конституционного усмирения естественных импульсов государственной власти. Исходным пунктом для умиротворяющего процесса придания международным отношениям правового статуса является международное право, которое и демонстрирует в своей классической форме превращенное соотношение государства и конституции. То есть здесь отсутствуют не международно-правовые аналоги конституции, которая учреждает ассоциацию свободных и равных субъектов права. Отсутствует супранациональная власть, которая располагает «по ту сторону» конкуренции, существующей между государствами-соперниками. Эта власть обеспечивает сообществу государств, организованному в соответствии с принципами международного права, возможность осуществления всех предусмотренных правилами действий, включая возможность санкций.

Классическое международное право уже представляет собой разновидность конституции в том смысле, что оно формирует пра-

вовую общность среди формально равноправных партнеров. Такая международно-правовая протоконституция существенно отличается от республиканской конституции. Она объединяет не индивидуальные юридические лица, а коллективных акторов и имеет в качестве основной функции отправление насилия, а не конституирование господства. Сообществу субъектов международного права трудно представить принципы своего функционирования в качестве конституции в строгом смысле слова еще и потому, что оно не располагает связующим потенциалом взаимных правовых обязанностей. Только добровольное ограничение суверенитета — прежде всего отказ от его главной составляющей, права на войну, — может превратить партнеров по договору в членов политически оформленной общности. Члены союза народов, добровольно отказываясь от завоевательных войн, уже берут на себя обязательство, которое несет в себе больший потенциал объединения, чем правовые традиции и межгосударственные договоренности, причем без надгосударственных форм принуждения.

Союз народов и запрет на войны заложены в логику развития, опирающегося на статус *членства* субъектов международного права. Сначала существует «слабоорганизованное», по сравнению с республиканским государством, содружество государств; если оно стремится быть дееспособным, для него важно расширить собственные полномочия на международном уровне за счет правовых институтов (нормотворческих и нормоприменительных), а также возможности применения санкций. Это преимущество, которым обладают горизонтальные отношения членства по сравнению с организованной дееспособностью единиц, намечает для конституционализации международного права направление, противоположное генеалогии конституционного государства, — от неиерархической протообщности коллективных субъектов действия к дееспособной международной организации глобального гражданского миропорядка. Это направление развития обнаруживается сегодня на трех самых впечатляющих примерах международных организаций, совершенно различных по структуре и функциям. Если обозначить то, что их различает, как «устав», «соглашение» или «конституция», то уже ясно, что объединяющим началом для договорных текстов ООН, ВТО и Европейского союза остается «конституция». Тексты их основных документов напоминают чересчур широкие одежды, которые еще предстоит подогнать к укрепленному организационно-правовому телу, т. е. наполнить уси-

ленными супранациональными полномочиями, аналогичными полномочиям государства.

Эта экстраполяция происходящего *наделения полномочиями* слабо связанного сообщества суверенных государств, дополнительного к *правовому оформлению* субстанциональной государственной власти, может предостеречь нас от поспешного перенесения конституционализации международного права на цель создания глобального *государства* народов. Демократическое союзное государство в формате мировой республики — ошибочная модель. Потому что отсутствует структурная аналогия между конституцией суверенного государства, которое само вправе решать, какие политические задачи оно на себя возлагает (т. е. решать вопрос о компетенциях и их использовании), с одной стороны, и конституцией всемирной организации, построенной по принципу дополнительности, но ограниченной немногими, точно описанными функциями, — с другой. Взгляд на исторических акторов этих процессов подчеркивает асимметрию между эволюцией государственного права и всемирно-гражданского права. Государства, которые ценой отказа от собственного суверенитета стали сегодня участниками регулируемой кооперации с другими государствами, выступают как коллективные действующие лица и руководствуются иными мотивами и обязательствами, чем революционеры, создавшие когда-то конституционные государства.

Устав ООН несет на себе явную печать идей классического международного права. Упоминается формула сообщества государств и народов, которые взаимными усилиями обеспечивают свое «суверенное равенство». Вместе с тем в вопросах международной безопасности, и в частности защиты и осуществления прав человека, ООН допускает возможность интервенции. На этих двух политических площадках члены Совета Безопасности ООН обладают полномочиями защищать права граждан, даже выступая против их собственного правительства. Возможно, было бы более логично характеризовать ООН сегодня как сообщество «государств и граждан».

³⁶ О федеративной всемирной республике см.: *Höffe O.* Demokratie im Zeitalter der Globalisierung. München, 1999; *Gosepath St. und Merle Chr. J.* (Hg.). Weltrepublik. Globalisierung und Demokratie. München, 2002.

³⁷ *Greven M. Th. und Schmalz-Bruns R.* (Hg.). Politische Theorie — heute. Baden-Baden, 1999. Teil III; *Kohler-Koch B.* (Hg.). Regieren in entgrenzten Räumen // Politische Vierteljahresschrift. 39. Jg., 1998; *Jachtenfuchs M., Knodt M.* (Hg.). Regieren in internationalen Organisationen. Opladen, 2002.

Так, Брюссельский конвент предложил свой проект Европейской конституции «от имени гражданок и граждан государств Европы». Ссылка на участников в лице государств воздает должное крепкому положению, которое они будут *сохранять* — как движущие субъекты развития — в пространстве глобального правового и мирового порядка, в то время как ссылка на индивидов указывает на подлинных носителей статуса «граждан мира».

7. Мировая внутренняя политика без мирового правительства

Двойная привязка к коллективным и индивидуальным акторам фиксирует различие (важное с точки зрения базовых понятий), существующее между правовым порядком федеративной всемирной республики, выстроенной исключительно на базе принципов индивидуализма³⁶, и политически организованным мировым сообществом, которое обладает правом управлять государствами на глобальном и интернациональном уровне посредством институтов и практик «по ту сторону государств»³⁷. В этих рамках *члены сообщества государств* приучаются к согласованным действиям, но они не превращаются в *государства, входящие в состав союзного государства (Gliedsstaaten)*, т. е. не низводятся до уровня простых частей некоего охватывающего иерархического порядка. Положительным моментом является, конечно, и конструктивно измененное самопонимание государств-акторов, ограниченных в своем суверенитете и привязанных к согласованным нормам членства в организации. Дело в том, что доминирующий и сегодня в международных отношениях *способ (Modus)* достижения компромисса *межгосударственных* интересов, в существенной степени базирующийся на силе и влиянии, не остается незатронутым.

В свете идей Канта политическое устройство децентрированного мирового сообщества, исходя из существующих сегодня структур, можно представить как многоуровневую систему, которая *в целом* лишена государственного характера, причем из благих оснований³⁸. Согласно этому представлению, соответственным образом реформированная всемирная организация, ООН, могла бы на *супранациональном уровне* выполнять жизненно важные,

³⁸ Habermas J. Die postnationale Konstellation. Frankfurt a. M., 1998. S. 156–168.

но строго специфические функции по обеспечению мира и осуществлению прав человека; осуществлять эффективно, неизбежно, не испытывая при этом необходимости принимать форму мировой республики. На среднем, *транснациональном*, уровне крупные акторы, способные действовать глобально, могли бы разрабатывать сложные проблемы не только координирующей, но и системообразующей мировой внутренней политики, в особенности проблемы мирового хозяйства и экологии, с помощью постоянных конференций и систем переговорных процессов. Если не считать США, то в данное время акторы соответствующего масштаба отсутствуют; нет участников политического процесса, которые могут выйти за рамки представительского мандата и имеют в своем распоряжении необходимые ресурсы. Однако в различных регионах мира национальные государства испытывают необходимость объединяться в «континентальные режимы» по типу Европейского союза, превратившегося в эффективного внешнеполитического актора. На этом срединном уровне международные отношения приобретают новые формы; они трансформируются и модифицируются уже потому, что в условиях действенных мер ООН по обеспечению безопасности даже глобальным игрокам (*global players*) может быть ограничен доступ к войне как легитимному средству решения конфликтов.

Контурно набросанное изображение многоуровневой системы, которая на супранациональном уровне позволяла бы осуществлять декларированные в Уставе ООН цели политики мира и обеспечения прав человека, а на транснациональном уровне — решение проблем мировой внутренней политики с помощью достижения компромисса интересов между укрощенными мировыми державами, нужно мне здесь только в качестве иллюстрации *понятийной* альтернативы идее мировой республики. Идея мировой внутренней политики без мирового правительства, т. е. политики, которая проводится в рамках Всемирной организации и может принуждать к миру и соблюдению прав человека, должна стать всего лишь примером того, что «мировая республика» или «государство народов» не являются единственными институтами, в которых может воплотиться кантовский проект (если выйти за рамки его суррогатной идеи союза народов). Не только конституционное государство, увеличенное до глобальных масштабов, отвечает абстрактным требованиям «всемирного гражданского состояния».

Приведенные аргументы позволяют сверх того утверждать, что

модель мировой республики как инструмент перехода от международного права к всемирному гражданскому праву внушает не только ошибочную последовательность необходимых шагов, но и проблематичную цель; дело в том, что в конституционном государстве, расширенном до глобальных масштабов, сохраняется [уже обозначенный выше] сплав государства и конституции. В исторически эффективной форме европейского национального государства оказались фактически переплавленными три базовых элемента — государственность, гражданско-государственная солидарность и конституция; однако за рамками национального государства они расходятся и в перспективе должны создать совершенно другую конфигурацию, если современное разорванное в культурном отношении и высокостратифицированное мировое общество получит счастливый шанс действительно принять однажды политическую конституцию. Государство не является необходимой предпосылкой конституционных порядков. Таким образом супранациональные общности (ООН или Европейский союз) не имеют в своем распоряжении той монополии на легитимное применение средств насилия, которая служит правовому, управляющему и взимающему налоги государству в качестве гарантии внутреннего и внешнего суверенитета; хотя все же сохраняются претензии на приоритеты, которыми обладает супранациональное право по отношению к национальному правовому порядку. Европейское право, создаваемое в Брюсселе и Люксембурге, в особенности соблюдают страны—члены Европейского союза, хотя каждая из них сохраняет свои средства насилия в казарменном положении.

Тезис об «отсталости» государственно организованной дееспособности по сравнению с политически сформированным взаимодействием коллективных акторов в рамках международных организаций заставляет задуматься над следующей проблемой: соответствуют ли вообще конституции, не связанные с государством, республиканскому типу конституции. Если это не так, то и процесс «конституционализации» международного права приобретает

³⁹ *Brunkhorst H.* Globale Solidarität: Inklusionsprobleme moderner Gesellschaften // *Wingert L. und Günther K.* (Hg.). Die Öffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der Öffentlichkeit. Frankfurt a. M., 2001. S. 605–626; *ders.* Globalizing Democracy without a State // *Millenium. Journal of International Studies.* Vol. 31. No 3. 2002. P. 675–690; *ders.* Demokratie in der globalen Rechtsgenossenschaft // *Zeitschrift für Soziologie, Sonderheft Weltgesellschaft* (im Erscheinen).

ет другой смысл. Хауке Брунхорст исследует на примерах ООН, ВТО и ЕС «правовые порядки, потерявшие статус государственных», прежде всего с точки зрения дефицита демократии, характерного для «господства закона, которое реализуется без своего собственного права на законодательство»³⁹. Супранациональные конституции напоминают своими функциями по ограничению господства об образцах домодерновой традиции права, когда истоками права были договорные отношения, складывавшиеся между господствующими сословиями раннего Нового времени (дворянством, церковью и городами) и королем.

В этой традиции и сложилось понятие «конституция», которое указывает на ограничение политического господства посредством дистрибутивного разделения властей. Эта идея, воплощенная уже в древних парламентах, или сословных собраниях, приспособленная к коллективному представительству, идея взаимного ограничения и сбалансирования «господствующих сил», в современных теориях государства развилась в представление о дистрибутивном, распределительном, «разделении господства», «разделении власти суверена»; она соединилась с индивидуалистическими концепциями — учением о правах человека в английском либерализме, о функциональном разделении законодательной, исполнительной власти и права в немецком конституционализме. Так возникают два варианта идеи об ограничивающем произвол власти «господстве законов» — «*rule of law*»* и «правовое государство».

Эти либеральные типы конституций, как и те республиканские конституции, на которые ориентировался Кант, преследуют одну и ту же цель — придать политическому господству правовую форму. Но процесс придания правовой формы приобретает в данном случае новый смысл. Решается задача по обузданию насилия средствами институционального разделения и практической регуляции *существующих* отношений власти. В период формирования революционных конституций республиканского толка шли другие процессы: существующие отношения власти разрушались ра-

* «Принцип господства права» (англ.).

⁴⁰ К. Мёллер показал, как в европейском конституционном праве либеральная конституционная трактовка «ограничения господства» связана с последовательно демократическим пониманием конституционного «обоснования господства». См.: *Möllers Chr. Verfassunggebende Gewalt — Verfassung — Konstitutionalisierung. Begriffe der Verfassung in Europa* // Bogdandy A. v. (Hg.). *Europäisches Verfassungsrecht*. Berlin, 2003. S. 1–56.

ди утверждения нового рационального господства, которое формируется исходя из разумно выраженной и определенной воли граждан, объединенных в государстве⁴⁰. В этом контексте процесс обретения политическим господством правового статуса одновременно приобретает направленный против консервативной традиции государственного права смысл рационализации «природной», якобы субстанциально остающейся «фоном права» государственной власти.

8. *Супранациональная конституция и демократическая легитимация*

Наполовину забытые демократические способы легитимации могли формироваться исключительно на уровне национального государства. Они требуют определенного типа гражданско-государственной солидарности, не выходящей за границы национального государства. Для политических общностей по ту сторону континентального режима, подобных Европейскому союзу, уже по этой причине предлагаются в качестве основополагающих документов конституции либерального типа⁴¹. Они регулируют взаимодействие коллективных акторов с целью взаимного ограничения властных устремлений, направляют умиротворенную в своих действиях игру сил на путь соблюдения прав человека и передают судам задачу правоприменения и праворазвития; однако все это не связано напрямую с демократическими заявлениями и контролем. В этом случае процессы конституционализации международного права не имеют собственно *республиканского* смысла, заложенного когда-то в практику придания международным отношениям правовой формы. Это существенное различие имел в виду Брун-Отто Бриде, когда следующим образом объяснял понятие конституционализации международного права с помощью различения конституции и государства: «Конституционная *государственность*, конечно же, не может быть задана на международном

⁴¹ *Frankenberg G.* Die Rückkehr des Vertrages. Überlegungen zur Verfassung der Europäischen Union // *Wingert L. und Günther K.* Die Öffentlichkeit der Vernunft. a. a. O. S. 507–538.

* Социальная справедливость (англ.)

⁴² *Bryde B.-O.* Konstitutionalisierung... a. a. O. S. 62.

уровне, но можно задать конституционализм; впрочем, нельзя задать и правовую *государственность*, но можно *rule of law*; нельзя задать интернациональный принцип социального *государства*, но можно — *social justice** (...) В понятии «демократия» этот элемент отсутствует, но он подразумевается, когда «демос» переводят как «народ данного государства» (...), хотя по-английски господство насилия в международных отношениях может исходить от народа («*from the people*»)»⁴².

Последнее суждение, правда, нужно пояснить. В либеральной традиции от Локка до Дворкина существует известное напряжение в связи между понятиями «конституция» и «источник легитимации демократического действия». Концепция «господства закона» черпает свою легитимность из источников естественного права. В конечном счете она опирается на идею естественных прав человека, данных от природы. Но эту позицию едва ли можно еще защищать в условиях постметафизического мышления. Республиканское понимание конституции, напротив, обладает тем преимуществом, что позволяет закрыть эти лакуны легитимации. В своем теоретическом дискурсе оно использует приемы понятийного ограничения принципов народного суверенитета и прав человека и привязывает (*verankert*) легитимацию законов (включая и основной закон, обосновывающий господство закона) к опыту обсуждения и представительства демократического волеизъявления и формирования общественного мнения, каким он представлен в конституционном государстве; этот опыт мыслится как обладающий потенциалом легитимации⁴³. Это соединение необходимо в практике легитимации, однако его необходимо преодолеть, и делается это путем полного отсоединения супранациональных конституций от демократии и государственно организованного господства. Нормативным рамкам конституций, лишенных государственного статуса, придется сохранять поэтому (по меньшей мере косвенно) привязку к легитимационным ресурсам *государ-*

⁴³ *Habermas J.* Faktizität und Geltung. a. a. O. S. 51–165; *ders.* Über den internen Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie // *ders.* Die Einbeziehung des Anderen. Frankfurt a. M., 1996. S. 293–305; *ders.* Der demokratische Rechtsstaat — eine paradoxe Verbindung widersprüchlicher Prinzipien? // *ders.* Zeit der Übergänge. Frankfurt a. M., 2001. S. 133–151.

⁴⁴ *Dolzer R.* Wirtschaft und Kultur im Völkerrechts // *Vitzthum W.G.* Völkerrecht. a. a. O. S. 502– 519.

ственных конституций, хотя бы для того, чтобы не превратиться в фасад, скрывающий права и амбиции гегемона.

Супранациональные конституции опираются на основные права и свободы, юридические принципы и санкции, которые вырастают из демократических процессов освоения [права и политики] и доказывают свою пригодность в рамках демократически устроенных национальных государств. В этом отношении генетически их нормативная субстанция питается конституциями республиканского типа. Это суждение неприменимо не только по отношению к Уставу ООН, который изначально привязан к Всеобщей декларации прав человека, но даже к комплексу международных договоров, касающихся Всемирной торговой организации и Всемирной организации по тарифам и торговле. Правотворческая деятельность ВТО и ее практика улаживания конфликтов сосредоточены как на соблюдении правовых норм (взаимность, солидарность, борьба с дискриминацией), так и на соблюдении прав человека (в последнее время эта тенденция усиливается)⁴⁴. Поэтому процесс конституционализации международного права обретает производный статус, зависимый от уже достигнутого уровня легитимации, которым обладают конституции демократических стран.

Как и предвидел Кант, Всемирная организация сможет в конечном счете решить возложенные на нее задачи, если все государства-члены освободятся от чисто номинального характера своих демократических конституций. На транснациональном уровне такие системы переговоров, как ВТО и другие учреждения мировой хозяйственной системы, могут также формировать собственную политическую волю⁴⁵, т. е. заниматься мировой внутренней политикой, только при условии, если возникнет множество организованных по принципу федерации республик, способных к деятельности в глобальном масштабе. В них пути легитимации демократического процесса на уровне национальных государств получат непрерывное продолжение как бы наверх — до уровня этого континентального порядка. Процесс подобающего «углубления» европейских институций может послужить своего рода примером (даже если это еще не стоит в повестке дня).

Конституционализация международного права, ограничивающая господство, но разгосударвленная, не всегда удовлетворяет

⁴⁵ См.: «Special Report on the WTO Cancun Ministerial» vom 26. September 2003 (info@globalservicenetwork.com).

условиям, которые только и позволяют достичь «всемирного гражданского состояния». Необходимо, чтобы этот процесс (как на уровне ООН, так и на уровне транснациональных систем переговоров) имел посредствующий «тыл», который создают практики демократического волеизъявления и свободного обмена мнениями, реализуемые во всей полноте только в конституционных государствах — какими бы сложными ни были эти федеративно устроенные государства континентального масштаба. «Слабая», разгосударствленная конституционализация, развертывающаяся в транснациональных рамках, сохраняет признаки легитимации, характерной для государственно централизованных конституционных порядков. Именно в этих рамках организационный компонент конституции гарантирует гражданам равный доступ к решениям правительства, ориентирующим на политическую интеграцию, доступ, который обеспечивается посредством публичных практик, выборности, парламентаризма и других форм участия. Только в условиях демократических конституционных государств существуют организационно-правовые средства, нацеленные на обеспечение равного участия граждан в законодательном процессе. Там, где этого нет, — а этого нет в супранациональных конституциях, — постоянно возникает опасность представить «господствующие» по данному случаю интересы гегемона как всеобщие законы, обладающие всеобщей значимостью.

Предположение, согласно которому для удовлетворения потребности в легитимации транснациональной системы переговоров достаточно привязки к внутригосударственной легитимации правительств — участников переговоров, основывается на следующей предпосылке: конституции этой системы приспособлены для ограничения власти и выравнивания властных потенциалов. На этом транснациональном уровне великие державы тем быстрее реализуют ожидания, связанные с совместными и честными действиями, чем больше они будут идентифицировать себя (уже на супранациональном уровне) в качестве членов глобального сообщества государств. В этом качестве их должна воспринимать и общественность их собственных стран, от которой они получают свой легитимный статус. Однако возникает вопрос: разве не может за фасадом самой Всемирной организации скрываться все то же гегемониальное право сильнейшего (которое сегодня открыто

⁴⁶ Brunkhorst H. Globalizing Democracy... а. а. О.

признается в праве вето, которым обладают страны — постоянные члены Совета Безопасности)?

[Хауке] Брунхорст отвечает на этот вопрос, ссылаясь на компенсаторские функции мировой общественности; сегодня ее влияние возрастает, хотя бы в неформальном плане: «спонтанная активность относительно слабой общественности», которая «не имеет гарантированного организационно-правового доступа к объединяющим решениям», открывает по крайней мере путь для легитимации «слабого соединения дискуссии и решения»⁴⁶. В нашем контексте речь идет не об эмпирическом вопросе, насколько сильное легитимационное давление мировая общественность, представленная СМИ и неправительственными организациями, мобилизованная социальными и политическими движениями, оказывает на политику ООН и решения международных судов. Нас больше интересует теоретический вопрос: может ли глобальное мнение, формируемое неформальной мировой общественностью, обеспечить мировому гражданскому обществу достаточную интеграцию, а Всемирной организации — достаточную легитимацию, если мировая общественность не имеет в своем распоряжении институционализированных конституционно-правовых путей перенесения коммуникативно произведенного влияния в сферу политической власти?

К счастью, препятствия, которые необходимо преодолеть для осуществления этих функциональных задач, не безмерно трудные. Если сообщество народов ограничивается деятельностью по обеспечению мира и защите прав человека, то солидарность граждан мира, в отличие от солидарности граждан государства, не нуждается в опоре на «сильные» нравственные установки, практики общей политической культуры и жизненных форм. Для солидарности граждан мира достаточно созвучия морального возмущения массовыми нарушениями прав человека и очевидным пренебрежением к запрету на агрессивные военные действия. Для объединения общества граждан мира достаточно единства чувства в негативных оценках массовой преступности. Однозначные негативные функции универсалистской этики справедливости — обязанность недопущения агрессивных войн и нарушений прав человека — задают в конечном счете и шкалу для правовых суждений международных судебных институтов и политических решений ООН. Эта база для правовых суждений, привязанная к общему культурному раскладу, не отличается шириной, но она способ-

на нести нагрузку. В общем и целом этого достаточно, чтобы обозначить в мировом масштабе привязки нормативных установок к сферам деятельности сообщества государств и придать новым и новым спонтанным реакциям мировой общественности, многократно усиленным СМИ, силу легитимации.

9. Встречные тенденции

Кант разрабатывал свою идею о «состоянии вечного мира» как импликацию полного обретения международными отношениями статуса правовых форм. Те же самые принципы, которые впервые обрели форму в конституциях республиканских государств, должны структурировать и это всемирное гражданское состояние — т. е. гарантировать одинаковые гражданские права и права человека для каждого индивида. У Канта эта идея всемирного гражданского состояния получает свою конкретную форму в конституции мировой республики. Правда, Кант выражает беспокойство по поводу тенденции к уравнивающей, если не к деспотической власти, которая, по-видимому, присуща структуре мировой республики. Поэтому он обращается к суррогату союза народов. Если глобальный монополист на власть в лице все нивелирующего государства народов представляет собой единственную альтернативу сосуществованию суверенных государств, то, пожалуй, будет лучше, если идея всеобщего гражданского состояния найдет свое воплощение не в пространстве принудительного права, а в «слабой» форме добровольной ассоциации республик, придерживающихся политики мира. Я хочу показать, что альтернатива, которая вынуждает Канта сделать такой вывод, не полная. Если идею правового оформления естественного состояния [вражды] между государствами понимать достаточно абстрактно и не отягощать ее фальшивыми аналогиями, то *понятно возможна* реализация еще одной, другой формы конституционализации международного права, дополненной либеральными, федералистскими и плюралистическими представлениями.

В этом направлении и развивается международное право в условиях сложно организованного мирового общества и сложной системы взаимозависимых государств, перед лицом изменившихся военных технологий и угроз безопасности жизни людей, а также являясь ответом на исторический и моральный опыт уничто-

жения евреев в Европе и другие эксцессы. Поэтому концептуальная возможность существования политической многоуровневой системы, которая как целое теряет качество «быть государством», не является просто спекулятивной фигурой мысли. В условиях этой системы на супранациональном уровне можно сохранять мир и обеспечивать права человека, не создавая ради достижения этих целей всемирного правительства, монополизирующего власть; на уровне транснациональном такая система позволяет решать проблемы мировой внутренней политики. И все же мучительное состояние нашего мира, охваченного насилием, дает повод осмеять эти «грёзы духовидца». Надо понять, что нормативно так хорошо обоснованная идея всемирного гражданского состояния остается пустым, даже вводящим в заблуждения обещанием, если она не дополняется реалистическим анализом контекста освоения встречных тенденций.

Кант осознавал эту ситуацию, и, хотя он придавал таким моральным положениям, как «не должно быть никакой войны», значение императива, а рассуждениям в плане истории философии — эвристические функции, он стремился обеспечить идее всемирного гражданского состояния достаточную степень эмпирической правдоподобности и убедительности. Встречные тенденции, которые он тогда диагностировал, были не только «идущими навстречу, любезными». Ретроспективно и готовность демократических государств жить в мире, и миротворческий потенциал всемирной торговли, и критическая функция общественности демонстрируют свою двойственность. В целом республики в отношениях между собой вели себя мирно, но обычно они не уступали военным устремлениям других государств. Освобождение капитализма от всех ограничений создавало немало поводов для беспокойства не только в империалистическую эпоху; границы модернизации определила недоразвитость тех стран, которые пострадали от модернизационных практик. А общественность, подчиненная влиянию электронных масс-медиа, в не меньшей степени служит делу манипулирования и навязывания определенных доктрин, чем просвещение (при этом частное телевидение все чаще берет на себя печальную роль лидера этих практик).

Если мы хотим воздать должное столь продолжительной актуальности кантовского проекта [вечного мира], мы должны отка-

⁴⁷ Кант И. К вечному миру. С. 34.

заться от тех пристрастий, которые заполняют горизонт современности. Кант тоже принадлежал своей эпохе, следовательно, страдал определенным дальтонизмом.

- Канту чуждо историческое сознание, которое стало господствующим лишь к 1800 году, и он остался равнодушен к проблеме культурных различий, заостренной ранними романтиками. Например, Кант тотчас ставит под сомнение собственное указание на способность религиозных различий сеять рознь между народами замечанием о том, что существуют различные религиозные книги и исторически сформировавшиеся разновидности веры, «но только одна религия обязательна для всех людей и во все времена»⁴⁷.
- Канту был настолько близок дух абстрактного Просвещения, что он не осознал взрывной силы национализма. В то время политическое сознание этнической принадлежности к языковой общности или общности рода еще только формировалось; но уже в течение XIX столетия как национальное сознание оно не только опустошило Европу, но и стало существенным фактором империалистической динамики индустриальных держав, нацеливавшихся на заокеанские страны.
- Вместе со своими современниками Кант разделял убеждение в «гуманистическом» превосходстве европейской цивилизации и белой расы. Он недооценивал важность партикуляристской природы международного права, которое было приспособлено тогда к интересам небольшого числа привилегированных государств и христианских народов. Только эти нации взаимно признали свое равноправие; весь остальной мир они поделили между собой на сферы влияния в соответствии с собственными колонизаторскими и миссионерскими целями.
- Кант еще не осознал значение того обстоятельства, что европейское международное право глубоко укоренено в христианской культуре. Интегративный потенциал этого фона имплицитно различных ценностных ориентаций был достаточно сильным вплоть до начала Первой мировой войны, что позволило удерживать применение военного насилия более или менее в рамках подчиненной праву дисциплины ведения войны.

Провинциализм исторически обусловленного сознания, присутствующий в кантовских размышлениях о будущем, — не упрек в адрес универсалистского содержания этического и правового учения Канта. «Слепое пятно» свидетельствует об исторически осуществимой впоследствии избирательности *в самом способе применения* тех когнитивных операций обобщения и взаимного принятия перспектив, которые Кант приписывал [сфере] практического разума и положил в основание дальнейшего космополитического развития международного права.

II. Конституционализация международного права или либеральная этика мировой державы

1. История международного права в свете актуальных вызовов современности

Спустя 200 лет мы обозреваем диалектическое развитие европейского международного права, пользуясь незаслуженными эпистемическими привилегиями новых поколений. В этом процессе эволюции права обе мировые войны XX века, а также окончание «холодной войны» образуют цезуры, причем последняя по сравнению с двумя предыдущими еще не обрела ясных контуров. Обе мировые войны стали водоразделами, о которые разбивались прежние надежды, но возникали также и новые. Лига Наций и ООН являются великими, хотя и рискованными и обратимыми вспять достижениями на трудном пути к политическому обустройству мирового сообщества. Лига Наций распадается, когда Япония завоевывает Маньчжурию, Италия аннексирует Абиссинию, а Гитлер начинает агрессивную подготовку к войне, присоединив Австрию и захватив Силезию. Деятельность ООН оказалась практически парализованной, хотя и не полностью остановленной со времени корейской войны, вследствие конфронтации между великими державами и блокады Совета Безопасности.

Третья цезура — развал советского режима — разбудила надежды на возникновение нового мирового порядка под эгидой ООН. В эти годы Всемирная организация продемонстрировала свою эффективность в гуманитарных акциях, в усилиях по принуждению к миру, в создании международных трибуналов по военным преступлениям и преследовании нарушений прав человека. Но одно-

временно накапливались неудачи; и это связано с теми террористическими ударами, которые США и их союзники в конечном счете интерпретировали как «объявление войны» Западу. События, которые в марте 2003 года привели к вводу коалиционных войск в Ирак, создали двусмысленную ситуацию, не имеющую аналогов в истории международного права. С одной стороны, сверхдержава уверовала в то, что она в состоянии в одиночку реализовать свою волю, в случае необходимости и с помощью военных средств, по своему усмотрению, т. е. независимо от резолюций Совета Безопасности, апеллируя к праву на самозащиту. Самый мощный член ООН не считается с ее основными нормами, с запретом на насилие. С другой стороны, это не разрушило ООН. Всемирная организация вышла из этого конфликта, как представляется, с укрепившим международным авторитетом.

Не является ли эта непростая ситуация знаком того, что прогресс в конституционализации международного права после двух разрушительных неудач все же обрел нормативно упрямую динамику? Или это сигнал о начале дефинитивного конца проекта правовой институционализации международных отношений? Дипломатичный отказ от открытых полемик на тему о будущем международного права сгущает серую риторическую пелену, за которой могло бы происходить сбивающее с толку слияние мирового конституционного права и гегемониального права сверхдержавы — или не менее пугающая констелляция конкурентной борьбы за большие территории *à la* Карл Шмитт. Пропагандистское размывание четко определенного понятия «вооруженное нападение» и эфемерные рассуждения о «приспособлении» международного права к новым вызовам не сулят ничего хорошего, если посмотреть, что в реальности несут с собой все эти ревизии, служащие предлогом, чтобы фактически аннулировать принципы международного права.

Дискриминация государств, правительства которых оказывают активную поддержку новому интернациональному террору или предоставляют ему убежище, не требует ни эрозии четко прописанных прав на необходимую оборону, ни аннулирования центральных положений Женевской конвенции. И действенная борьба с новым террором внутри страны тоже не требует значительно-

⁴⁸ *Guillaume G. Terrorism and International Law // International Criminal Law Quarterly*. Vol. 53. July 2004. P. 537–548.

го ограничения или ликвидации основных прав и свобод⁴⁸. Конечно, со сменой таких правительств призраки террора могут опять исчезнуть. И все же образ власти, которая использует свое военное, технологическое и экономическое превосходство для создания нового геостратегического мирового порядка в соответствии со своими собственными, религиозно обоснованными понятиями о добре и зле, внушает эвристически полезную альтернативу — между набирающим силу процессом конституционализации международного права и его замещением посредством либеральной этики великой державы.

Такая постановка вопроса обращает взгляд на историю международного права (и на учения о международном праве) в определенном направлении. К правильному пониманию альтернативы и ее понятийного фона относится все предпрещающее понятие придания международным отношениям правовой формы (*Verrechtlichung*) в смысле трансформации международного права во всемирно-гражданскую конституцию. Кант приписывал нормативному упрямству беспристрастно полагаемого и применяемого права *рационализирующую* политическое господство силу. Без этой предпосылки гегемониальная односторонность, которая оправдывает важные по своим последствиям решения не в соответствии с учрежденными способами и действиями, а исходя из собственных ценностей, представляется по-другому — не как бросающаяся в глаза этическая альтернатива *по отношению к* международному праву, а как типично возвращающийся вариант *в* международном праве.

С этой точки зрения международное право ограничивается функциями координации межгосударственных отношений, потому что оно скорее отражает, чем трансформирует лежащее в основе положение дел в сфере власти. Свои собственные регулирующие, стабилизирующие и компенсаторные функции право может осуществлять только на базе *существующих* властных отношений, и оно не располагает авторитетом и собственной политической динамикой, которые были бы необходимы, чтобы уполномочить Всемирную организацию определять нарушения междуна-

⁴⁹ Этим соображением я обязан Н. Кришу. См.: *Krisch N. Imperial Law* (Ms., 2003).

⁵⁰ См. полезный обзор у А. фон Богданди: *Bogdandy A. v. Demokratie, Globalisierung, Zukunft des Völkerrechts — eine Bestandsaufnahme // Zeitschrift für ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht*. Bd. 63. Nr. 4. 2003. S. 853–877.

родной безопасности и прав человека и санкционировать определенные меры. В этой ситуации международное право становится податливой средой для изменяющихся отношений власти; но оно не выполняет функции плавильного котла, в котором могла бы разложиться естественная субстанция власти. Идеальные типы международного права варьируются тогда с существующими властными отношениями. На одном конце континуума располагается концепт международного права, сердцевину которого составляет государство; он выражает все множество разнообразных связей, существующих между суверенными государствами. На другом конце — гегемониальное право одной имперской державы, которая отходит от международного права только для того, чтобы в конечном счете превратить его в собственное национальное государственное право⁴⁹.

Какой выбор мы должны сделать между этими различными концепциями международного права?⁵⁰ Они конкурируют между собой не только по поводу правильности интерпретации истории международного права. Они сами так тесно связаны с этим историческим контекстом, что испытывают с его стороны значительное влияние. Отношение власти и права обусловлено нормативным самосознанием государственных акторов и поэтому не является некой константой, которая познается дескриптивно. Это противоречит социоонтологической трактовке, в соответствии с которой властные отношения являются *раз и навсегда* данным герменевтическим ключом к правовым отношениям. Кант же предложил свой вариант, в рамках которого возможно следующее допущение: сверхдержава, если только она следует демократической конституции и действует, исходя из долгосрочной перспективы, не всегда использует международное право в качестве инструмента для достижения собственных целей, но содействует такому проекту, который в конце концов свяжет руки ей самой. В стратегических интересах сверхдержавы — рассматривать будущие мировые державы не с точки зрения связанных с ними рисков, а с точки зрения их своевременного приобщения к правилам политически обустроенного сообщества государств.

⁵¹ В попытках реабилитировать Гегеля нет недостатка и сегодня. См., например: *Fine R. Kant's theory of cosmopolitanism and Hegel's critique // Philosophy & Social Criticism. Vol. 29. No 6. 2003. P. 611–632.*

2. Власть нации — Юлиус Фрёбель до и после 1848 года

Даже беглый взгляд открывает нам обратные тенденции, которые до сих пор определяли историю международного права. На протяжении долгого XIX столетия повсеместная вера в неукротимую политическую субстанцию и всемирно-историческую миссию национальных государств, суверенных в своих решениях, отодвигала на задний план мирные инициативы по объединению Европы: «Народ как государство есть дух в его субстанциональной разумности и непосредственной действительности, поэтому он есть абсолютная власть на земле». Это положение Гегеля, который рассматривал международное право (в § 331–340 своей «Философии права») как «внешнее государственное право» (этот термин используется в Германии до сих пор), направлено против идеи Канта о вечном мире, который обеспечивается союзом государств, улаживающим любое разногласие. Потому что спор между суверенными государствами может быть «разрешен только средствами войны», так как отсутствует объединяющий нравственный фон религиозного «согласия»⁵¹. Правда, в Германии поочередная смена идеологических установок гуманистически просвещенного и национально-ориентированного либерализма в полной мере началась лишь после неудачной революции 1848 года.

В этой связи показательна биография и история произведений Юлиуса Фрёбеля, родившегося в 1805 году, племянника педагога-реформатора Фридриха Фрёбеля. Фрёбель учился в Йене у кантианца Якоба Фридриха Фриза и испытал влияние фейербаховской критики религии. В должности приват-доцента преподавал в Цюрихе географию, благодаря Руге вошел в круг левых гегельянцев, затем по политическим причинам прекратил свою педагогическую деятельность, стал издателем и написал (прежде чем

* «Громовая гора» (нем.).

⁵² В 1975 г. в Scientia Verlag Aalen был издан репринт этой работы: *Fröbel J. System der sozialen Politik*. 2. Auflage. Mannheim, 1847 (в последующем цитируется как: Fröbel (1847). Bd. I и Bd II). Биографические факты я заимствую из «Введения к новому изданию», подготовленного Райнером Кохом.

⁵³ *Habermas J. Volkssouveränität als Verfahren* (1988) // ders. *Faktizität und Geltung*. a. a. O. S. 600–631; здесь S. 612 ff.

⁵⁴ *Fröbel* (1847). Bd. II. S. 458.

в числе крайних левых вошел во фракцию «Donnersberg»* в Паулькирхе и наконец потерпел крушение как член баденского революционного правительства) двухтомную «Систему социальной политики», опубликованную в 1847 году⁵². Это радикально-демократическое «государственное право», вдохновляемое идеями Канта и Руссо, отличается оригинальными, далеко опередившими свое время размышлениями о строительстве социального государства и о роли политических партий в процессе демократической интеграции (Willensbildung). Понимание делиберативной политики, представленное в его книге, позволяет считать Фрёбеля предшественником процедурной трактовки демократического правового государства⁵³.

В нашем контексте интересна радикализация идеи Канта о всемирном гражданском состоянии в период, предшествующий марту 1848 года. Фрёбель вступает в дискуссию, которая уже давно велась вокруг кантовской работы о вечном мире. Фрёбель должен защищать кантовское «требование справедливости и вечного мира между государствами»⁵⁴ в политической и духовной атмосфере, которая изменилась благодаря Гегелю и исторической школе по сравнению с основным гуманистическим настроением XVIII века. Фрёбель применяет все свои культурно-исторические, антропологические, этнографические и географические знания для анализа различий племен, языков и рас, потому что эти «естественные» элементы социальной и культурной жизни в процессах политического формирования общности ради достижения свободы являются, по Фрёбелю, в известной степени «негативными составляющими». Хотя самым ходом культурного развития народы обречены попеременно на «смещение или обособление», между генеалогическими корнями этноса и волей политически сложившейся нации существует некоторое напряжение. Примером служит Швейцария: «Народы, которые опираются в своей жизни главным образом на свободную ассоциацию и союз общин, или товариществ, часто сосуществуют вместе только потому, что испытывают внешнее давление. Так происходит до тех пор, пока не окрепли и не срослись составные части этих общностей».

⁵⁵ *Fröbel* (1847). Bd. I. S. 246, 245.

⁵⁶ *Ibid.* S. 538.

⁵⁷ *Ibid.* S. 57.

⁵⁸ *Fröbel* (1847). Bd. II. S. 469.

Страсть Фрёбеля — в идее «нравственного, свободного, собственно политического момента в жизни народов», т. е. «братского союза, в который вступают на основе свободного решения»⁵⁵. Его взгляд с самого начала направлен за границы национального государства, его интересует федерация государств.

Пока нация провозглашает собственное существование самоцелью, сознание граждан даже в либеральных странах сохраняет «патриотически-ограниченный характер»⁵⁶. Ради «индивидуального самоопределения, для которого каждый обладает своим масштабом»⁵⁷, Фрёбель решительно выступил против субстанциализации государства и нации. Только равное уважение к каждому отдельному человеку и солидарность между всеми людьми можно считать «конечной целью культуры». Этот идеал человечества должен найти свое воплощение в глобальной федерации государств, которая упраздняет войну, преодолевая противоречия национальной и интернациональной политики, государственного и международного права. Фрёбель излагает идею Канта о всемирном гражданском состоянии в ярких красках как «демократически организованный союз товариществ всех людей, всеобщее самоуправление человеческого рода, осознающего себя автономным жителем, владельцем и управляющим хозяйством планеты»⁵⁸. Он ориентируется при этом скорее на федеративную систему США и в особенности на швейцарское национальное государство, чем на централизованное строение Французской республики.

Идею всемирной республики, построенной по федеративному принципу, не нужно путать с суррогатом рыхлого союза народов. Вместе с правом на войну исчезает также суверенитет отдельных государств, мутировавших до положения членов союза народов, и обратная сторона суверенитета — принцип отказа от интервенции, который Фрёбель считает только «жалким предлогом минутной слабости»: «Вопрос всегда в том, ради чего следует начать интервенцию — ради свободы и культуры или в интересах эгоизма и жестокости»⁵⁹. Войны допустимы только «как революции», т. е.

⁵⁹ *Fröbel* (1848). Bd. I. S. 250.

⁶⁰ *Fröbel* (1847). Bd. II. S. 462 ff.

⁶¹ Восприимчивость к расовому вопросу в США сделала ренегата даже предшественником социал-дарвинизма.

⁶² Репринт венского издания был выпущен Scientia Verlag Aalen в 1975 г. (в дальнейшем цитируется как: *Flöbel* (1861). Bd. I и II).

в форме освободительных движений для осуществления демократии и гражданских прав. В этом случае партии гражданской войны заслуживают поддержки со стороны сил, осуществляющих интервенцию⁶⁰. За правовыми аспектами таких интервенций должны наблюдать международные судебные институции.

Фрёбель, как объявленный в розыск революционер, в 1849 году должен был покинуть Германию. Когда после восьми лет эмиграции, проведенных в США, он вернулся в страну, здесь произошел не только ментальный поворот к «реальной политике» (как об этом свидетельствует Л.А. фон Рохау). Сам Фрёбель так переосмыслил опыт своей богатой приключениями эмигрантской жизни, что его работы стали репрезентативными для смены политической атмосферы тех лет⁶¹. В 1861 году, т. е. через 14 лет после публикации «Системы социальной политики», Фрёбель издает еще один двухтомник под названием «Теория политики»⁶², где признается в Предисловии, что должен отречься от «триады революционного духа». Теперь он идет за Гегелем и исторической школой: государство не только обладает наличным бытием, т. е. реально существует для своих граждан, но и, как органично составленная и суверенно нравственная власть, является целью самой по себе. Поскольку государства не терпят ничего, что возвышается над ними, в отношениях между государствами «не власть обусловлена правом, а право является производным от власти»⁶³. Естественное состояние [отношений постоянной вражды] между государствами может продолжаться только потому, что «универсальное государство — это идея, безусловно противоречащая нравственности и, как таковая, противоречивая; это не идеал, за которым скрывается действительность, а некое уродство мысли, заблуждение нравственного суждения»⁶⁴.

3. Кант, Вудро Вильсон и союз народов

Конечно, Фрёбель был академическим аутсайдером, но его ост-

⁶³ *Fröbel* (1861). Bd. I. S. 331.

⁶⁴ *Ibid.* Bd. I. S. 3.

⁶⁵ *Lasson A.* *Prinzip und Zukunft des Völkerrechts.* Berlin, 1871.

⁶⁶ *Koskenniemi M.* *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870–1960.* Cambridge, 2002. P. 179–265.

* Институт международного права (фр.).

** «Ревю международного права и сравнительного законодательства» (фр.).

рые суждения о кантовском проекте не только предшествуют основным тезисам гегельянца Адольфа Лассона⁶⁵, они выражают господствующие убеждения многих немецких специалистов по государственному праву в период между 1871 и 1933 годами⁶⁶. По сравнению с выдающимися «ниспровергателями» международного права — от Эриха Кауфмана до Карла Шмитта — влияние таких интернационалистов, как Вальтер Шюкинг и Ханс Кельзен, было маргинальным. Печать национализма и этатизма лежит и на тех либеральных инициативах, которые исходят непосредственно от специалистов по международному праву в западных странах. М. Коскенниemi посвятил две будирующие главы своей очень интересной истории международного права добросовестным, в конечном счете амбивалентным усилиям юристов, которые с конца 1860-х годов объединялись вокруг *Institut de droit international** и «Revue de droit international et de législation comparée»**. Многие из них примут впоследствии участие в работе мирной конференции в Гааге. До того момента (несмотря на Женевскую конвенцию 1864 г.) право на войне — *ius in bello* — не было упорядочено в обязательном для всех виде (речь идет о цивилизации военных действий, направленных только против бойцов, защите гражданского населения и раненых, о гуманном обращении с военнопленными, защите культурных ценностей и др.): «Indeed, the laws of war have perhaps never before nor since the period between 1870 and 1914 been studied with as much enthusiasm»⁶⁷.

Сторонники национально окрашенных либеральных концепций исходили из того, что профессия специалиста по международному праву призвана помогать обрести голос политической совести человечества. Для них существование национального государства, его независимый статус были чем-то безусловным; но только европейские государства принадлежали к тому культурному кругу, в котором идеалы просвещения, прав человека и гуманитарных принципов могли рассчитывать на отклик и понимание. Только цивилизованные государства достигли той степени зрелости, которая позволяет им стать членами международного сообщества равноправных государств. Интернационалисты не были, конечно, совсем бесчувственными к жестокому

⁶⁷ «Безусловно, военные законы никогда не исследовались с таким энтузиазмом, как в период между 1870 и 1914 гг.» (Koskenniemi M. The Gentle... а. а.

сторонам колониализма, но, и на их взгляд, именно Европе однажды выпала роль распространять процесс цивилизации на другие регионы земного шара. С позиции превосходства белого Запада представлялось естественным, что колониальные державы в договорном порядке регулировали свои взаимные претензии друг к другу, но не свои отношения с самими колониями. Существовавший перепад в цивилизованности и проистекающая отсюда миссия просвещения и воспитания должны были объяснять, почему универсализм основоположений международного права неразрывно связан с присущей колониализму логикой исключения.

Между тем профессионализм юристов был успешно использован не только в ходе догматического обоснования конструкций международного права, но и в правовой политике, особенно в области гуманитарного международного права. Тем острее был ментальный шок от беспримерной эскалации насилия в годы Первой мировой войны, жестокости позиционной войны и войны вооружений (первые применения танков, газа, огнеметов и т.д.). Первая «тотальная» война свела на нет все усилия найти правовые ограничения для милитаристского насилия во время войны. Это презрительное опровержение успехов Гаагской мирной конференции стало одной стороной первой великой цезуры в истории классического международного права. Другая ее сторона — инициатива Вудро Вильсона, вызванная шоком от ужасов войны, по созданию Лиги Наций. Долгий XIX век закончился вместе с историческим потрясением, которое и подготовило почву для во многом невероятного процесса конституционализации международного права.

Основание Лиги Наций впервые позволило поставить кантовский проект [о всемирном гражданском состоянии] в повестку дня практической политики. Вскоре после этого он стал темой важных по своему значению дискуссий среди специалистов по государственному и международному праву⁶⁸. Идея Канта оказала свое политико-правовое и теоретико-правовое воздей-

⁶⁸ Х.Келзен и К. Шмитт дискутировали с Дж. Скелле и Х. Лаутерпахтом.

* Женская партия мира (англ.).

** Союз демократического контроля (англ.).

⁶⁹ См.: *Knock Th.* Woodrow Wilson and the League of Nations. Princeton, 1982. Кар. IV.

*** Американская лига укрепления мира (англ.).

ствии только после ужасов Первой мировой войны. Но в измученной и истекающей кровью Европе лозунги движения за мир нашли большее понимание среди общественности, чем у правительственных политиков. Нужна была инициатива американского президента. Как профессиональный юрист, он был подготовлен к тому, чтобы практически воплотить философскую идею. Уже в военные годы Вильсон под влиянием прогрессивных интернационалистов, в особенности *Women's Peace Party*^{*}, а также британских радикалов из *Union of Democratic Control*^{**}, разрабатывал программу Лиги мира как ядра будущего послевоенного мирового порядка⁶⁹; в мае 1916 года он публично сделал доклад о ней членам American League to Enforce Peace^{***}. Возмущению союзников Вильсон сумел противопоставить влияние великой державы, которая впервые решительно вмешалась в европейские конфликты.

После того как при посредничестве США в ноябре 1918 года было заключено перемирие, Вильсон, спустя еще три месяца, возглавил комиссию по созданию Лиги Наций; уже через 11 рабочих дней был представлен проект Устава. В Германии такие политически ангажированные ученые и интеллектуалы, как Карл Форлендер, Карл Каутский и Эдуард Шпрангер, сразу распознали в речах Вильсона влияние кантовской концепции о союзе народов⁷⁰. Сам Вильсон, правда, никогда прямо не ссылаясь на кантовскую работу «К вечному миру», но ряд убедительных признаков указывает на то, что он должен быть хорошо с нею знаком⁷¹. Этот интеллектуальный долг по отношению к Канту явствует не только из политической целевой установки, но прежде всего из организации и состава Лиги Наций. Количественный прорыв в развитии права связан с тем, что побеждает идея запрещения войны, что затрагивает саму субстанцию существовавшего международного права. Статья 11, пункт 1 Устава Лиги Наций (всего в этом документе 26 статей) констатирует, что «любая война и любая угроза войной, касается ли это непосредственно члена союза или нет, является делом всего союза». Никто из членов Лиги Наций не может сохранять нейтралитет. Это обязательство инициировало в 1926 году абсолютный запрет на войну в статье 1 пакта Бриана–Келлога, в подготовке которого решающее участие приняли опять же юри-

⁷⁰ *Beestermöller G. Die Völkerbundidee. Stuttgart, 1995. S. 16–22.*

⁷¹ *Ibid. S. 101–104.*

сты США.

Если следовать образцу, предложенному Кантом, то союз народов должен достигать этой цели на путях взаимных добровольных обязательств со стороны суверенных, но миролюбивых, демократических государств. Федерация, следовательно, предполагает комбинирование государственного суверенитета и межгосударственной солидарности на основе демократического самоопределения народов, жизнь которых организована по национально-государственному принципу. Вильсон явно недооценил взрывной силы национального принципа, который был положен в основу договоров, заключенных в пригороде Париже и определявших на долгий срок новый территориальный порядок в Европе и на Ближнем Востоке. В качестве постоянных членов союза предусматривались Великобритания, Франция, Италия, Япония и США (которые, правда, не ратифицировали договор). В этих странах Вильсон видел авангард нового мирового порядка, который будет основываться на правовой государственности и демократическом самоопределении. Либеральная позиция определяла и материальные критерии, предъявляемые к приему других членов. Как и для Канта, для Вильсона лишь достижение космополитического правового состояния может означать окончательное исключение войны: «What we seek is the reign of law, based on the consent of the governed, and sustained by the organized opinion of mankind»⁷².

Формулировки, направленные на предотвращение войны (статьи 8–17), выстраивают систему коллективной безопасности на основе обоюдных обязательств по оказанию содействия, ограничению вооружений, экономическим санкциям и действиям для мирного разрешения и улаживания конфликтов (через третейские суды, международные трибуналы или Федеральное собрание)⁷³. Однако, не располагая кодификацией новых состояний «наступательной войны», без международных судебных структур, наделенных соответствующими полномочиями, и без супра-

⁷² «То, к чему мы стремимся, есть царство закона, основанного на согласии всех, кто этим законом управляется, и опирающегося на организованную волю человечества» (*Baker R.S.* (Ed.). *The Public Papers of Woodrow Wilson*. Vol. 1. New York, 1925. P. 233).

⁷³ *Verdross A. und Simma B.* *Universelles Völkerrecht*. 3. Aufl. Berlin, 1984. S. 66; *Klein E.* *Die internationalen und supranationalen Organisationen* // *Vitzthum W.G.* *Völkerrecht*. a. a. O. S. 273–181.

национальной инстанции, обладающей волей и способностью осуществить действенные санкции против воинственно настроенных государств, Лига Наций ничего не могла противопоставить агрессии будущих «держав оси» — Японии, Италии и Германии (которые были исключены из Лиги Наций). Она была надолго парализована, когда фашистская Германия начала [новую] мировую войну, которая не только физически затронула и материально опустошила Европу. Цивилизационный надлом, проникающий глубже, чем военные разрушения, повредил моральное ядро немецкой культуры, немецкого социума, и бросил вызов человечеству в целом.

4. Устав ООН — «конституция международного сообщества»?

Отныне злом и бедой, которых необходимо избегать, оказывается уже не только война, которая превращается в тотальную борьбу и столкновение, но и такая варваризация насилия, какую до сих пор невозможно было представить, разложение элементарных, до сих пор «непреодолеваемых» сдерживающих барьеров, превращение бескрайнего зла во что-то массовое и обыденное. Для того чтобы противодействовать этому новому злу, международному праву уже недостаточно лишь следовать прежним рецептам, нацеленным на недопущение агрессии. Массовые преступления, совершенные в годы нацистского режима и нашедшие свою кульминацию в истреблении европейских евреев, вообще государственные преступления тоталитарного режима (в том числе и против населения собственной страны) лишили основания положение о принципиальной невинности суверенных субъектов международного права. Чудовищные преступления довели до абсурда тезис о моральной и правовой (в смысле наказуемости) индифферентности государственных действий. Правительства больше не могли обладать иммунитетом, как и все их чиновники, функционеры и помощники. Для предупреждения возможных в будущем преступлений (что впоследствии переняло международное право) военные трибуналы Нюрнберга и Токио осудили чиновников и функционеров побежденного режима за военные преступления, за преступление подготовки агрессивной войны и за преступления против человечности. Это было началом конца для международного права, выстроенного на основе принципа «право госу-

дарств». Одновременно сложилась моральная обстановка, способствующая выработке новых правовых привычек. В частности, привычной становилась и мысль о существовании Международного трибунала.

Уже во время войны Рузвельт и Черчилль потребовали в Атлантической хартии «создать всеобъемлющую и долгосрочную систему всеобщей безопасности». После Ялтинской конференции четыре великие державы пригласили страны к участию в учредительной конференции [ООН] в Сан-Франциско. Страны-основательницы (их было 51) уже через два месяца, 25 апреля 1945 года, единогласно приняли Устав ООН. Несмотря на большой энтузиазм при праздничном акте основания ООН, не сложилось единого мнения по вопросу о том, должна ли новая международная организация, выходя за рамки своих непосредственных задач по предотвращению военной опасности, приложить усилия для трансформации международного права во всемирное конституционное право. Оглядываясь назад, мы можем утверждать, что авангард представленного в Сан-Франциско сообщества государств переступил порог конституционализации международного права (в том специфическом смысле, о котором говорилось выше). «В конституционализме (...) цель ограничения всевластия законодателя (а в международной правовой системе это прежде всего государства, устанавливающие право) достигается при помощи высших правовых принципов, в частности — прав человека»⁷⁴.

По сравнению с неудачами Лиги Наций в период между мировыми войнами вторая половина короткого 20 века характеризуется ироническим противоречием: контрастом между значительными инновациями в международном праве, с одной стороны, и тем соотношением сил, сложившимся в период «холодной войны», — с другой, которое блокировало практическую действенность этих достижений. Такое же диалектическое движение можно наблюдать во время и после Первой мировой войны: регрессия во время войны, инновационный скачок после войны и на достигнутом затем уровне вновь еще более глубокое разочарование. Примерно так же можно описать положение ООН после завершения войны в Корее, когда ее деятельность оказалась практически парализо-

⁷⁴ *Bryde B.-O. Konstitutionalisierung. a. a. O. S. 62.*

* Деловая рутина (англ.).

ванной. Однако на этот раз речь идет скорее о затишье на уровне политики, а не об отступлении от достигнутого уровня самого международного права. Продолжающееся существование ООН все больше производит впечатление *business as usual**. Во всяком случае она готова предложить институциональные рамки для беспрерывного нормотворчества.

Инновации в международном праве, участвовавшие после 1945 года, преимущественно не имели реального выхода на практику. Все они так или иначе выходили за рамки кантовского суррогата добровольной федерации независимых республик. Но эти инновации обозначали новые направления в международной политике: не движение к мировой республике, обладающей монополией на власть и насилие (по крайней мере, согласно ее притязаниям), а движение к санкционированному на супранациональном уровне режиму сохранения мира и обеспечения прав человека. Этот режим в ходе происходящего умиротворения и либерализации мирового общества должен создать предпосылки для функционирующей на транснациональном уровне мировой внутренней политики без участия и формирования всемирного правительства. Правда, в юридической литературе вопрос о том, можно ли рассматривать Устав ООН как разновидность конституции, представляется очень спорным⁷⁵.

Я не эксперт, поэтому ограничусь тем, что отмечу три нормативные новации, которые, в отличие от Устава Лиги Наций, наделяют Устав ООН в первую очередь качествами конституции. Это не значит, что Устав с самого начала представляет собой глобальную конституцию или имеет такую интенцию. Текст Устава, как картинка-загадка, открыт и конвенциональному прочтению, и интерпретации в качестве конституции. Прежде всего на основе трех отличительных признаков:

- четко выраженного ограничения целей обеспечения мира политикой соблюдения прав человека;

⁷⁵ Бардо Фассбендер называет восемь конститутивных отличительных признаков основного закона: «Конститутивный момент, система управления, определение членства, иерархия норм, «вечное» и поправки, «устав», конституционная история, универсальность и проблема суверенитета» (*Fassbender B. The United Nations... a. a. O.*).

- привязки запрета на насилие к реальной угрозе уголовного преследования и применения штрафных санкций;
- членства в ООН и универсализации ее правовых норм.

Строго говоря, только с 1989–1990 годов изменившаяся ситуация в мире сделала актуальным вопрос о том, имеет ли ООН собственную конституцию, которая побуждает страны — члены ООН к конструктивному переосмыслению своего понимания политики. А свое влияние внутри международного права как специальной дисциплины и поляризующее воздействие на политическую общественность эта тема проявила после последней войны в Ираке. На мой взгляд, Устав ООН предлагает рамки, в которых государства-члены *не должны* больше рассматривать себя только как субъектов международно-правовых договоренностей; теперь они могут признавать себя — вместе со своими гражданами — в качестве конституирующих носителей политически организованного мирового общества. Достаточно ли мотивов для такой смены ориентаций в самовосприятии субъектов международного права, не в последнюю очередь зависит от культурной и экономической динамики самого мирового общества.

5. Три инновации в международном праве

Мне хотелось бы подробнее разобрать три упомянутые инновации в сфере международного права. Оформленные в 1945 и 1948 годах, они существенно расширили позиции 1919 и 1928 годов. Но, что еще более важно, они позволяют понять, почему эта тема образует фон проблемы «раскол Запада».

(а) Кант трактовал проблему устранения военной опасности как проблему создания космополитического конституционного порядка. Хотя этот проект послужил мотивирующим контекстом инициативы Вудро Вильсона относительно создания Лиги Наций, в ее программах документах нет указаний на связи, существующие между состоянием мира во всем мире и мировым порядком, основанным на соблюдении прав человека. В своем дальнейшем развитии международное право осталось инструментом для

⁷⁶ О проблематике интернационализации прав человека см: *Brunkhorst H., Köhler W.R. und Lutz-Bachmann M.* (Hg.). *Recht auf Menschenrechte*. Frankfurt a. M., 1999.

предотвращения войн. Ситуация изменилась в связи с принятием Устава ООН, где во втором положении преамбулы тотчас подтверждается «вера в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности», а в статье 1 (подпункты 1 и 3) политические цели достижения всеобщего мира и международной безопасности увязываются с соблюдаемым во всем мире «уважением к правам человека и его основным свободам для всех, независимо от расовых, половых, языковых и религиозных различий». Эта связь акцентируется и во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года, которая тоже имеет очевидное отношение к вышеприведенным формулировкам в преамбуле Устава ООН.

Тем самым международное сообщество взяло на себя обязательство распространить действие конституционных принципов, которые в прошлом реализовывались исключительно в рамках национальных государств, на весь мир в целом⁷⁶. Сам формат деятельности ООН постепенно, шаг за шагом вышел за пределы специально обозначенной в статье 1 (подпункт 1) цели обеспечения мира на уровень глобального содействия и осуществления прав человека. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН рассматривают факты «нарушения мира», агрессии и «угрозы миру» в контексте своей политики, направленной на соблюдение прав человека. Если раньше ООН относила к сфере своей компетенции прежде всего межгосударственные конфликты и проявления агрессии со стороны отдельных государств, то теперь она в возрастающей степени реагирует на такие внутренние конфликты, как разложение государственной власти, гражданская война и массовые нарушения прав человека.

В 1966 году Всеобщая декларация прав человека была дополнена международными соглашениями о гражданских и политических правах, с одной стороны, об экономических, социальных и культурных правах — с другой, а также конвенциями, ограничивающими различные формы дискриминации. В этой связи особое значение приобретает действующая по всему миру система контроля за соблюдением прав человека и оповещения об их нарушениях. Комиссия ООН по правам человека обладает правом в случае надобности дипломатическими средствами оказать влияние

⁷⁷ См.: *Hailbronner Kay*. Der Staat und der Einzelne als Völkerrechtssubjekte // Vitzthum W.G. Völkerrecht. a. a. O. S. 161–267.

на исполнительную власть в разных странах. Она проводит также проверку обращений отдельных граждан по поводу правовых нарушений, допущенных правительствами их стран. Эти индивидуальные жалобы (даже если сначала они и не имели большого практического значения) создали новый институт принципиального значения — в его рамках отдельные граждане были признаны непосредственными субъектами международного права⁷⁷. Какой путь еще предстоит пройти государственному праву и всемирному гражданскому праву, проясняет хотя бы то обстоятельство, что, например, Конвенция о запрещении пыток 1987 года, ратифицированная 51 голосом, вступила в силу, но очень немногие государства взяли на себя предусмотренное ею обязательство принимать к рассмотрению жалобы отдельных граждан.

(b) Центральным пунктом Устава ООН является принципиальный запрет на насилие, который не может быть отменен никаким международным договором — в том числе и договором между членами военного союза или коалиции. Исключение возможно только в случае осуществления права на самооборону, которое четко определено и не допускает произвольных и расширительных толкований. Принцип запрета на интервенцию не действует, следовательно, по отношению к тем членам ООН, которые нарушают всеобщий запрет на применение насилия. Устав ООН предусматривает санкции за нарушение правил, а в случае необходимости и применение военной силы в рамках полицейских операций⁷⁸. Статья 42 Устава обозначает второй и решающий шаг на пути к конституционализации международного права. Совет Лиги Наций когда-то мог только рекомендовать своим членам использовать принудительные меры. Совет Безопасности ООН вправе сам инициировать необходимые военные акции. Статья 43 позволяет Совету Безопасности использовать вооруженные силы и логистические средства, предоставленные в его распоряжение государствами — членами ООН, для осуществления необходимых действий под своей эгидой и своим командованием.

Эта позиция вряд ли найдет свое практическое применение;

⁷⁸ См.: *Frowein J. A., Krisch N.* Chapter VII. Action with respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggressions // *Simma B.* (Ed.). *The Charter of the United Nations. A Commentary.* Second Edition. Oxford, 2002. P. 701–763.

* Строительство нации, государства (*англ.*).

во всяком случае не будет создано верховное командование [силами] ООН. Между тем в этой функции ООН часто востребована. Перед лицом такого положения дел было бы, конечно, желательно, чтобы великие державы имели для этой цели войсковые соединения, находящиеся в состоянии готовности, для быстрого вмешательства. Однако и сегодня Совет Безопасности дает возможность (поручает или разрешает) дееспособным странам — членам ООН осуществлять одобренные им санкции. Готовность великих держав к совместным действиям Устав [ООН] приобретает ценой признания права вето, которое является трудным испытанием для функциональной способности Совета Безопасности. С самого начала было ясно, что судьба Всемирной организации зависит от того, удастся ли великим державам (а сегодня — единственной оставшейся сверхдержаве) выработать единую линию, объединиться в совместной деятельности. Только в этом случае имеет смысл надеяться, что привычка к такой совместной работе всех участников [процесса] потребует и изменения сознания, сформирует установку на деятельность в качестве члена сообщества государств. Эта роль станет тем более привычной для сознания стран, осуществляющих вмешательство, чем активнее они будут задействованы в конструктивных задачах *nation-building**, т. е. выполняя свои обязательства по восстановлению разрушенной инфраструктуры, распавшихся государственных ценностей, государственной власти и оживлению иссякших социально-моральных источников.

В оправдавшей себя практике вмешательства, которое предотвращает насилие, стабилизирует мир и принуждает к нему, просматривается образец управления без мирового правительства. Даже в сфере внешней безопасности, где суверенитет государства (если следовать классическим положениям международного права) находит свое первейшее обоснование. ООН не наделена правом ни определять собственные компетенции и произвольно их расширять, ни использовать их для обретения монополии на легитимное применение силы. Совет Безопасности функционирует в строго определенных политических пространствах, в условиях децентрализованной, локализованной в пределах отдельных государств монополии на применение силы. Однако в общем и целом авторитета Генерального секретаря ООН достаточно, чтобы мобилизовать силы и средства стран — членов ООН, необходимые для реализации решений Совета Безопасности.

Под власть санкций Совета Безопасности подпадает и созда-

ние трибуналов, которые осуществляют практику судебного преследования в отношении международно признанных преступлений (военные преступления, подготовка захватнических войн, истребление народа и другие преступления против человечности). Члены правительств, чиновники, функционеры и другие добровольные пособники также персонально ответственны за деяния, совершенные ими на службе преступному режиму. Еще одно подтверждение того, что международное право больше не сводится только к праву отдельных государств.

(с) В отличие от концепции Лиги Наций как авангарда государств, уже достигших либерального уровня организации и следующих нормам демократических конституций, ООН изначально создавалась по принципу вхождения, членства в организации. Хотя все ее члены обязаны выполнять основные положения Устава и следовать нормам Всеобщей декларации прав человека, но с первых дней своего пребывания в ООН такие государства, как Россия и Китай, располагали правом вето в Совете Безопасности. Сегодня ООН, насчитывающая 193 члена, объединяет наряду с либеральными также и авторитарные, а иногда даже деспотические и преступные режимы. Цена всего этого — очевидное противоречие между заявленными принципами Всемирной организации и фактически практикуемыми некоторыми государствами-членами стандартами «прав человека». Это противоречие подрывает действующие нормы и легитимность решений, вытекающих из процедурной практики ООН, — например когда Ливия занимает пост председателя Комитета по правам человека. С другой стороны, само членство в ООН является необходимым условием для осуществления одной из главных целей международного сообщества — превратить межгосударственные конфликты в конфликты внутренние.

Если предположить, что все конфликты должны разрешаться мирным путем и укладываться (как в системах уголовного преследования, правосудия и исполнения наказаний) в цивилизованные рамки, то все страны без исключения следует рассматривать одновременно и как членов международного сообщества, и как сотрудничающих с ним. Правовое и политическое «единство всех наций» как единство, предполагаемое в самом духе христианства со времени Франциско де Виктория и Франциско Соареса, впервые в истории обрело в ООН свою институциональную форму. Соответственно статья 103 Устава обосновывает приоритет права

ООН по сравнению со всеми остальными международными договорами. Тенденция к такой иерархизации международного права подтверждается и статьей 53 Венской конвенции о договорном праве: принудительная норма всеобщего международного права — это норма, которая принимается международным сообществом государств в ее общности и признается в качестве нормы, отступления от которой недопустимы; ее изменение возможно только в результате принятия новой нормы всеобщего международного права, имеющей с функционирующей нормой общую правовую природу.

Прием в ООН новых государств-членов, образовавшихся в результате процессов деколонизации, начавшихся после 1945 года, окончательно смял рамки европейского международного права и положил конец монополии Запада на интерпретацию [международного права]. Конечно, уже в течение XIX века такие неевропейские страны, как США, Япония и Османская империя, были включены в круг субъектов международного права. Но только в рамках ООН восприятие культурного и мировоззренческого плюрализма мирового сообщества изменило само понятие международного права. Результатом растущей восприимчивости к расовым, этническим и религиозным различиям стало то, что члены Генеральной Ассамблеи форсировали взаимное признание позиций в таких сферах, которые оставались закрытыми для Канта (да и для Вильсона, который в отношении расовой проблемы в США отнюдь не был прогрессивным человеком). Об этом свидетельствуют как перечень прав человека [тех лет], так и соглашение об устранении всех форм расовой дискриминации. Созывом Венской конференции по правам человека ООН подтвердила свою убежденность в необходимости межкультурного диалога относительно спорных интерпретаций принципов деятельности Всемирной организации⁷⁹.

6. Два лица «холодной войны»

Бурное развитие международного права после окончания Второй мировой войны затронуло и институты, которые на протяжении

⁷⁹ Habermas J. Zur Legitimation durch Menschenrechte // ders. Die postnationale Konstellation. a. a. O. S. 170–192.

⁸⁰ Zangl B., Zürn M. Krieg und Frieden. Frankfurt a. M., 2003. S. 38–55

десятилетий вели собственную жизнь, далекую от политических реалий. Во время войны в Корее в Совете Безопасности еще раз были достигнуты договоренности о военных акциях, правда, только в форме поощрения мер по коллективной самозащите. В годы «холодной войны» не удалось продолжить практику трибуналов по военным преступлениям, работавших в Нюрнберге и Токио: существовали сомнения в «правосудии победителей». В ситуации взаимных ядерных угроз со стороны НАТО и стран Варшавского Договора методологические различия между правомедением и политической наукой, между международным правом и мировым порядком утратили свой чисто аналитический характер. В самом биполярном мире открылась пропасть между нормами и фактами, — фактами, к которым нельзя было применить никаких норм. Нормативный дискурс о правах человека превратился в голую риторику, когда и в Вашингтоне, и в Москве политику определяли представители «реалистической школы» международных отношений.

События периода «холодной войны», бессилие международного права должны были благоприятствовать созданию теории, которая исходя из элементарных антропологических посылок подводила к очевидному выводу о неизбежной пассивности и неэффективности международных институтов⁸⁰. По мнению Ганса Моргентау, основателя «реалистической школы», в самой природе человека заложено стремление к власти и к еще большей власти⁸¹. На этой инвариантной установке и должны основываться все объективные закономерности межгосударственных отношений, подчиненные исключительно интересам власти и ее аккумуляции. Соответственно правовые договоренности воспринимались как нестабильные и преходящие, отражающие конъюнктурное соотношение интересов различных стран. Моральные осуждения и оправдания, которые служили дискредитации противника, — контрпродуктивны, поскольку они только обостряют конфликты, которые можно локализовать, только опираясь на рациональные установки, на трезвое знание правил игры⁸².

С другой стороны, освобождение идеологической риторики

⁸⁰ *Pangle Th.L. und Ahrensorf P.J.* Justice Among Nations. a. a. O. P. 218 – 238.

⁸² В этой аргументации Моргентау следует тезисам К.Шмитта. См.: *Koskenniemi M.* Carl Schmitt, Hans Morgenthau and the Image of Law in International Relations // Byers M. (Ed.). *The Role of Law in International Politics.* Oxford, 2000. P. 17–34.

о правах человека от расчетов, связанных с властью, объясняет также одновременное наличие нормотворческой деятельности ООН, не связанной напрямую с реальными ситуациями, и сохраняющаяся во всех отношениях неясность относительно политических контуров будущего мирового порядка. Собственно говоря, ни у представителей политического реализма, ни у сторонников политического идеализма не было особых причин серьезно размышлять о политической организации мирового общества. Одни просто не верили в него, для других это было делом слишком далекого будущего. Пауль В. Кан, нащупавший интересную связь между реализмом школы Моргентау и правовым неолиберализмом 1990-х годов, указывает на сохраняющуюся важность этой двусмысленности послевоенного периода.

Сознательный уход реалистов и идеалистов от разработки концепции нового мирового порядка (правда, при этом они руководствовались противоположными мотивами) осложнил исходную ситуацию после 1989 года: «We can speak of (the Cold War) as an age of tremendous growth in human rights law, but we must simultaneously recognize this as an age of gross violations of human rights. Should we look to the genocide convention or the outbreak of genocidal behavior to characterize this age? (...) Should we look to the prohibition on the use of force – the central tenet of the UN order – or the millions of dead in numerous wars that characterized this same period? It was an age that promised constraints on the state through

⁸³ «Мы можем говорить (о “холодной войне”) как об эпохе больших достижений в области прав человека. В то же время мы должны признать, что это была эпоха грубых нарушений прав человека. На что нам следует указывать для характеристики этого века — на принятие конвенции о геноциде или на взрыв геноцидных действий? (...) Следует ли говорить о запрете на применение силы (центральное положение доктрины ООН) или о гибели миллионов людей в бесчисленных войнах? Что бы мы ни говорили об этой эпохе — это была эпоха, ограничившая волю государств силой закона, пока еще государства не достигли апофеоза в проведении ими политики взаимного гарантированного уничтожения. Реалисты могут пренебрежительно относиться к международному праву, идеалисты могут рассматривать этот факт как своего рода защитную реакцию стареющих политических институтов. Вместе с тем победа Запада в “холодной войне” не однозначна... Была ли это победа наших убеждений или преимуществ в военно-технологическом оснащении, победа признания прав человека или экономической мощи? Очевидно, и то и другое; но это значит, что компромисс, которого пытались достичь после Второй мировой войны, не был достигнут и с окончанием “холодной войны”» (*Kahn P.W. American Hegemony and International Law // Chicago Journal of International Law. Vol. 2. 2000. P. 13).*

law yet reached a kind of apotheosis of the state in adoption of policies of mutually assured destruction. The realist could be dismissive of international law, while the idealist could describe all of the recalcitrant fact as a kind of rearguard action by outmoded political institutions. Similarly, the triumph of the West at the conclusion of the Cold War resists easy characterization (...) Was it our ideas or our military-technological edge, our conception of rights or our economic power that triumphed? Of course, it was both, but that just means that the ambiguity that infused the post-World War II compromise had not been resolved even with the end of the Cold War»⁸³.

Двусмысленность послевоенного периода, еще не осмысленная до конца, до сих пор создает постоянную напряженность. И только конфликт по поводу недавней войны в Ираке довел до сознания Запада отсутствие общей перспективы. В 1990-е годы неолбералы, наблюдая за быстрыми темпами экономической глобализации, вдохновились мечтой об отмирании государства. Но эта греза была грубо прервана военной риторикой Белого дома и возрождением идей Гоббса о спасительном режиме власти, гарантирующем защищенность [для граждан]. Между тем обрели свои очертания и другие сценарии будущего мирового порядка. Наряду с неолберальным и кантовским проектами сложилось ясное гегемониальное видение будущего у американских консерваторов; левой реакцией на него стала теория глобального мирового пространства, возродившаяся под знаком приоритета культур. К этой теме я еще вернусь в заключительной части. Сначала я хотел бы в общих чертах охарактеризовать современную ситуацию.

7. Амбивалентные 1990-е годы

После того как завершилась конкурентная борьба между двумя общественными системами и деятельность Совета Безопасности была разблокирована, ООН — до этого времени *fleet in being** — стала важным форумом мировой политики. Начиная с первой иракской войны, Совет Безопасности только в период 1990–1994 го-

* Флот, имеющийся в распоряжение (англ.).

⁸⁴ Сравни с высказываниями Н. Кирша. См.: *Kirsch N. Legality, Morality and the Dilemma of Humanitarian Intervention after Kosovo // European Journal of International Law. Vol. 13(1). P. 323–335.*

дов 8 раз принимал решения об экономических санкциях и об акциях вмешательства, направленных на поддержание мира; 5 раз речь шла о военном вмешательстве. После неудач в Боснии и Сомали Совет Безопасности действует более осторожно; помимо эмбарго на вооружение, а также экономических санкций последовали и другие одобренные ООН мероприятия по стабилизации ситуации в Заире, Албании, Центральной Африке, Сьерра-Леоне, Косово, Восточном Тиморе, Конго и Афганистане. Роль Совета Безопасности в мировой политике стала очевидной и в тех двух случаях, когда он отказался одобрить военное вмешательство, — при интервенции НАТО в Косово и при введении американских и британских войск в Ирак. В первом случае были основания сожалеть о неспособности Совета Безопасности принять решение⁸⁴. Во втором случае Совет Безопасности укрепил репутацию ООН как института, отказывающегося от проведения политики, очевидно противоречащей международному праву; укрепил также и тем, что тщательно избегал последующего признания результатов военных действий. Три факта подчеркивают возросший политический вес ООН.

Совет Безопасности участвует в решении не только межгосударственных конфликтов, но и *конфликтов, возникающих внутри государств*; он реагирует:

- на факты насилия в ситуации гражданской войны или распада государственной целостности (как это происходило в бывшей Югославии, Либерии, Анголе, Бурунди, Албании, Центральноафриканской Республике и Восточном Тиморе);
- на грубое нарушение прав человека, на этнические чистки (как в Родезии и Южной Африке, в Северном Ираке, Сомали, Руанде и Заире);
- на разрушение демократического порядка (в Гаити и Сьерра-Леоне)⁸⁵.

Кроме того, Совет Безопасности продолжает традиции Нюрн-

⁸⁵ *Frowein. J.A., Kirsch N.* Chapter VII. Action with respect to Threats to the Peace. a. a. O. P. 724–726.

⁸⁶ *Derrida J.* Schurken. Frankfurt a. Main., 2003.

* Государства, находящиеся вне правового поля (*англ.*).

** «На страже прав человека» и «Международная амнистия» (*англ.*).

⁸⁷ *Frowein J.A.* Konstitutionalisierung. a. a. O. P. 429–432; *Zangl B., Zürn M.* Frieden und Krieg. a. a. O. S. 254–257.

берга и Токио и инициирует деятельность *трибуналов по военным преступлениям* (за бойню в Руанде и бывшей Югославии).

Сомнительное понятие так называемых «стран-изгоев» (Schurkenstaaten)⁸⁶ (Джон Роулз пользуется более нейтральным выражением «*outlaw-states**») указывает не только на проникновение фундаменталистского образа мыслей в риторику ведущей державы Запада, но и характеризует практику *международного правового признания*. В международных отношениях государства, нарушающие нормы безопасности и прав человека, принятые ООН, все чаще подвергаются дискриминации. Регулярные информационные обзоры организаций-наблюдателей, работающих во многих странах мира (*Human Rights Watch u Amnesty International***), способствуют тому, что такие государства постепенно утрачивают свою легитимность⁸⁷. Разъяснительная работа и угрозы извне в сочетании с деятельностью оппозиции внутри страны привели к тому, что правительства ряда стран (Индонезии, Ливии, Марокко) пошли на уступки.

Но наряду с этими прогрессивными подвижками существуют и обратные, весьма разочаровывающие тенденции. ООН располагает лишь слабыми финансовыми ресурсами. Во многих случаях своего вмешательства она наталкивается на сопротивление правительств, декларирующих волю к совместным действиям; ведь эти правительства по-прежнему сами контролируют военные ресурсы, а в своих решениях зависят от одобрения со стороны общественности их собственных стран. Вмешательство в процессы гражданской войны в Сомали сорвалось, потому что правительство США вывело свои войска, опасаясь негативной реакции собственного населения. Но еще хуже, чем с такими неудачными интервенциями, обстоит дело с интервенциями, которые либо отложены, либо запоздали, как, например, в иракском Курдистане, в Анголе, Конго, Нигерии, Шри Ланке и даже в Афганистане. Такие члены Совета Безопасности, обладающие правом вето, как Россия и Китай, могут заблокировать любое вмешательство ООН ссылкой на то, что оно является вмешательством во «внутренние дела» того или иного государства; однако от избирательного восприятия и асимметричной оценки гуманитарных катастроф больше всего страдают страны Черного континента.

⁸⁸ См.: *Münkler H. Die neuen Kriege. Hamburg, 2002. S. 13–17.*

В Руанде командир дислоцированных там подразделений голубых касок ООН уже в начале января 1994 года предупреждал компетентные подразделения ООН о возможных в скором будущем массовых убийствах. А 7 апреля началась резня, которая за три последующих месяца унесла жизни 800 тысяч жертв, в основном представителей этнического меньшинства тутси. ООН затянуло с началом военного вмешательства, к которому его обязывала конвенция 1948 года об истреблении народа. Постыдная избирательность, с которой Совет Безопасности оценивает ситуацию и реагирует на нее, выдает те преимущества, которые национальные интересы все еще имеют по сравнению с глобальными обязательствами международного сообщества. Бесперомное игнорирование обязательств в особенности обременяет Запад, которому сегодня, даже без учета влияния процессов политически недостаточно институционализированной экономической глобализации, приходится бороться как с издержками неудачной деколонизации, так и с замедленными последствиями своей колониальной истории⁸⁸.

В обеих сферах своей компетенции — угроза национальной безопасности и массовые нарушения прав человека — ООН сталкивается с эскаляцией нового типа насилия. Против государств, проводящих преступную политику, ООН может использовать в случае необходимости вооруженные силы, принадлежащие разным государствам. Правительства отдельных стран, скрытно приобретающие оружие массового уничтожения или занимающиеся его нелегальным производством, все еще представляют значительную опасность. Правительства зачастую причастны к этническим чисткам и территориальным захватам. Но угрозы, которые исходят от этих криминальных государств, во все большей степени отступают перед той опасностью, которую несет с собой насилие, не имеющее государственной организации (*entstaatlicher Gewalt*). «Новые войны» неоднократно возникали в результате распада авторитета государственной власти, которая разлагается на мешанину из этнонационализма, родовой распри, международной преступности и террора гражданской войны. Эти процессы подчине-

⁸⁹ См.: *Münkler H.* а. а. О.; *Zangl B. und Zürn M.* Frieden und Krieg. а. а. О. S. 172–205.

⁹⁰ О различиях культурной среды, которые обуславливают многообразную мотивацию в различных фундаменталистских движениях, см.: *Riesebrodt M.* Die Rückkehr der Religion. München, 2001. S. 59–94.

⁹¹ *Waldmann P.* Terrorismus und Bürgerkrieg. München, 2003. S. 35.

ны другой логике, нехарактерной для классических форм гражданской войны с ее идеологическими конфронтациями⁸⁹.

Глобальный терроризм, который подпитывается сегодня энергией религиозного фундаментализма, отличается от всего перечисленного тем, что он не привязан к определенной территории, и поэтому с ним еще труднее бороться⁹⁰. Новым является не террористический расчет, даже не способ нанесения удара (символическое значение штурма башен-близнецов Всемирного торгового центра не представляет собой исключения), а своеобразная мотивация и, прежде всего, логистика этого денационализированного насилия, действующего в масштабах всего мира в виде слабо сплетенной сети. «Успех», которого эти террористы, на их взгляд, добились с 11 сентября 2001 года, объясняется многими факторами. Мы не должны забывать о двух его составляющих: об огромном резонансе, который находит ужас в высокосложном и осознавшем свою уязвимость обществе; и о неадекватной реакции высокооснащенной сверхдержавы, обладающей мощным технологическим потенциалом, который она готова использовать против негосударственных сетей, прибегая к услугам национальных вооруженных сил. Террористический расчет нацелен на достижение «успеха», который напрямую зависит от ожидаемых «военных и внешнеполитических, внутривосточных, правовых и социально-психологических последствий ударов»⁹¹.

Недостатки в практике ООН, которая нуждается в реформе, очевидны. Однако новые типы насилия, которые все чаще и все настоятельнее принуждают к конструктивным и преодолевающим конфликты изменениям порядка в международном сообществе, представляют собой лишь самые назойливые симптомы разложения национальных взаимозависимостей и перехода к постнациональному взаимодействию. И эти тенденции, которые сегодня в виде ключевого понятия «глобализация» оказались в центре внимания, вовсе не идут вразрез с кантовским проектом всемирно-гражданского порядка. Они идут ему навстречу. Глобализация создает для все еще далеко забегающей вперед идеи всемирно-гражданского состояния упрочивающий контекст, и в нем сопротивление политическому обустройству мирового общества не воспринимается как препятствие, которое невоз-

⁹² См. проект предложения, который представила Совету Безопасности в декабре 2001 г. Комиссия по интервенции и государственному суверенитету. В нем акцент с «права на интервенцию» переносится на «ответственность за защиту населения».

можно преодолеть.

8. Реформа: что стоит на повестке дня

Повестка дня реформ для главной сферы деятельности ООН не несет в себе никаких особенных противоречий. Она тривиальным образом проистекает из баланса успехов и недостатков повседневной практики существующих институтов:

- Принимая во внимание мировые компетенции Совета Безопасности, процедуру обсуждения и способ принятия решений необходимо приспособить к изменившемуся геополитическому положению в мире с целью усилить дееспособность данного органа, соразмерно представить в нем мировые державы и регионы мира, а также учитывать при этом обоснованные интересы сверхдержавы — члена ООН.
- При выборе повестки дня и в принятии своих решений Совет Безопасности должен иметь возможность действовать независимо от национальных интересов. Он должен опираться на юридические правила, которые устанавливают, когда ООН вправе *и обязана* вмешаться в ситуацию⁹².
- Исполнительные органы [ООН] страдают от недостаточного финансирования⁹³ и от ограниченной возможности использовать необходимые в том или ином случае ресурсы стран — членов организации. Они должны быть настолько укреплены на основе децентрализованной монополии отдельных государств на применение силы, чтобы быть в состоянии гарантировать эффективное осуществление решений Совета Безопасности.
- Международные суды ООН дополнены международными трибуналами (практика которых еще не получила достаточного признания). Практика трибуналов по вынесению правовых определений и судебных решений может способствовать

⁹² Бюджет ООН составляет около 4% годового бюджета города Нью-Йорк. Более подробные данные см.: *Kwaakwa E. The international community, international law and the United States // Byers M. und Nolte G. (Eds.). United States Hegemony and the Foundations of International Law. Cambridge, 2003. P. 39.*

* Право на войне (*лат.*).

более точному определению и кодификации уголовных преступлений, за которые предполагается международное преследование. И сегодня *jus in bello** еще не развилось до уровня права в ситуации интервенции, которое по аналогии с внутригосударственными полицейскими правами защищает население, затронутое акциями ООН и интервенционистской практикой. (В этой связи когда-нибудь в виде исключения военно-технологическое развитие может содействовать превращению войн в полицейские мероприятия, особенно развитие так называемого высокоточного оружия.)

- Законодательные решения Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности требуют усиленной, пусть даже лишь косвенно действенной легитимации со стороны хорошо осведомленной мировой общественности. Наряду с другими возможностями в этой связи важную роль играет постоянное присутствие неправительственных организаций (обладающих правом слушания в структурах ООН и обязанностью представлять отчеты в национальных парламентах).
- Однако эта слабая легитимация достаточна для деятельности ООН лишь в том случае, если она ограничивается охраной таких ясно указанных прав, как защита от агрессии, международного насилия, массовых нарушений прав человека.

Мы должны, следовательно, исходить из того, что эти *элементарные права* признаны легитимными во всем мире и что справедливый контроль за их соблюдением осуществляется в соответствии с правилами, признанными легитимными. В обоих отношениях супранациональные действия политически обустроенного, но разгосударственного международного сообщества могут паразитически питаться правовыми принципами, которые на протяжении многих лет так тщательно охраняли демократические конституционные государства. На супранациональном уровне политически *формирующие* цели и задачи отходят на задний план по сравнению с *осуществлением* права; вследствие большей арены для принятия решений эти задачи требуют более высоких легитимационных затрат, т. е. более последовательно институционализированного участия граждан. Между тем более чем 60 специальных и вспомогательных учреждений ООН, о которых мы до сих пор и не упоминали, имеют дело с такими задачами политического характера.

Конечно, некоторые из этих структур, например МАГАТЕ, работают как исполнительные органы Совета Безопасности, если речь идет о контроле за производством оружия массового уничто-

жения. Другие организации, как, например, возникший в XIX веке Всемирный почтовый союз или Международный союз телефонной и телеграфной связи, выполняют координационные функции в технической сфере. Но организации типа Всемирного банка, Международного валютного фонда и прежде всего Всемирной торговой организации имеют мандат на принятие решений, имеющих важное значение для мировой экономики, т. е. на решения, которые по своей природе являются политическими. Ключ к пониманию этого необозримого ансамбля слабо скрепленных международных организаций, объединяющихся под эгидой ООН, более или менее близких к главным целям международного сообщества, следует искать в изменениях, происходящих в мировом обществе в ходе глобализации.

Следует обратить внимание на эти процессы, если задаться вопросом: почему государства присоединяются к транснациональным сетевым взаимодействиям и принимают участие в супранациональных объединениях — и почему ожидание, что однажды они штурмом проведут застопорившуюся реформу Всемирной организации, не совсем ошибочно. Дело в том, что глобализация экономики и общества имеет тот укладывающий контекст (*Einbettungskontext*), который Кант в свое время рассматривал как идею всемирно-гражданского состояния; в условиях современности этот контекст сгустился до постнационального положения дел (*Konstellation*). Под глобализацией мы подразумеваем направленные процессы распространения в масштабах всего мира торговли и производства, фондовых и финансовых рынков, моды, СМИ и их программного обеспечения, сетей сообщения и коммуникации, транспортных потоков и миграционных потоков, рисков от использования высоких технологий, от разрушений окружающей среды, эпидемий, от организованной преступности и терроризма. При этом национальные государства попадают во все большую зависимость от усиливающейся взаимозависимости мирового общества, которое совершенно беспечно перешагивает территориальные границы в силу присущей ему функциональной специфики.

⁹⁴ См. об этом: *Beck U.* *Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter*. Frankfurt a. M., 2002; *Held D., McGrew A.* (Eds.). *Governing Globalization*. Cambridge, UK, 2002.

* Глобальные игроки (*англ.*).

9. Постнациональная констелляция

Эти системно регулируемые процессы оказывают свое влияние на социальные предпосылки реальной независимости суверенных государств⁹⁴. Сегодня национальные государства больше не в состоянии только силами своего управления охранять границы собственной территории, обеспечивать основы жизни своего населения и материальные предпосылки функционирования общества. В пространственном, социальном и материальном отношениях национальные государства взаимно обременены внешними последствиями решений, которые комплексно влияют, в свою очередь, на другие страны, не участвовавшие в процессах принятия этих решений. Поэтому государства не могут не испытывать потребности в новых формах управления, координации и институционализации, которые возникают в мировом обществе, все более взаимозависимом и в культурном отношении. На внешнеполитической арене они по-прежнему остаются важнейшими, в конечном счете решающими акторами. Но эту арену они должны сегодня поделить с негосударственными *global players** — мультинациональными корпорациями и неправительственными организациями, которые проводят свою собственную политику, опираясь на деньги или ресурсы влияния. Но только государства обладают правом и легитимной властью над ресурсами управления. Даже если негосударственные акторы удовлетворяют свою потребность в нормах и правилах, необходимых для упорядочения транснациональных, функциональных систем, перешагивающих национальные границы (например, рынков в привязке к международной практике их адвокатского обслуживания), упорядочения прежде всего путем частных правовых разработок⁹⁵, эти конструкты не становятся «правом», если они не являются продуктом деятельности национальных государств или органов надгосударственных,

⁹⁴ Günther K. Rechtspluralismus und universal Code der Legalität: Globalisierung als rechtstheoretisches Problem // Wingert L, Günther K. Die Öffentlichkeit der Vernunft. a. a. O. S. 539–567; Günther K., Randeria Sh. Recht, Kultur und Gesellschaft im Prozess der Globalisierung // Schriftenreihe der Werner Reimers Stiftung, Nr. 4. Bad Homburg, 2001.

⁹⁶ См.: Zürn M. Politik in der postnationalen Konstellation // Landfried Chr. (Hrsg.). Politik in der entgrenzten Welt. Köln, 2001. S. 181–204; ders. Zu den Merkmalen postnationaler Politik // Jachtenfuchs M., Knodt M. (Hrsg.). Regieren in internationalen Institutionen. a. a. O. S. 215–234.

но политически организованных общностей.

С одной стороны, национальные государства теряют компетенции (например, контроль за управленческими ресурсами национальной компании, функционирующей на международном уровне); но, с другой стороны, они получают возможности для осуществления новых форм политического влияния⁹⁶. Чем быстрее национальные государства научатся удовлетворять свои национальные интересы, используя новые каналы «управления без вмешательства правительств», тем раньше они смогут заменить традиционные формы дипломатического давления и военной угрозы «мягкими» формами властвования. Лучшим индикатором, указывающим на смену форм международных отношений, являются расплывающиеся границы между внутренней и внешней политикой.

Таким образом, постнациональные реалии присоединяются на полпути как встречные к развивающемуся процессу конституционализации международного права. Повседневный опыт все возрастающей взаимозависимости в мировом обществе, которое становится все более сложным, незаметно изменяет самовосприятие национальных государств и их граждан. Когда-то самостоятельно принимающие решения акторы, сегодня они осваивают новые роли — участников транснациональных сетей, подчинившихся техническим императивам кооперации, а также членов международных организаций, связанных обязательствами, проистекающими из нормативных ожиданий и принудительных компромиссов. Мы не должны также недооценивать изменяющего сознание влияния международного дискурса, который вызван необходимостью осмыслить конструкцию новых правовых отношений. Через участие в дискуссиях, через применение нового права нормы, которые зачастую многими гражданами и чиновниками признаются только вербально, постепенно превращаются во внутренние установки. Так и национальные государства учатся воспринимать себя одновременно как членов более крупных политических общностей⁹⁷.

⁹⁷ Об этой социально-конструктивистской трактовке изменений в международных отношениях см.: *Wendt A. Social Theory of International Politics*. Cambridge, 1999.

⁹⁸ Во Франции дискуссии по этим вопросам разгорелись между сторонниками национальной государственности и сторонниками европейского федерализма. См.: *Savidan P. (Ed.). La République ou l'Europe?* Paris, 2004.

Как можно наблюдать на примере процесса европейского объединения, эту гибкость ограничивает обремененность существующими формами солидарности, если национальные государства объединяются в континентальный режим. Сами национальные государства, как только они разовьются до уровня международных дееспособных акторов, должны обрести государственный характер. Бряд ли удастся разорвать цепи легитимации демократического гражданского участия в таких крупных по занимаемому пространству объединениях; но солидарность граждан государств должна распространиться за пределы национальных границ стран-членов⁹⁸. В обществе эпохи модерна солидарность, даже в ее абстрактной, конституированной в правовом отношении форме государственно-гражданской солидарности, является скудным ресурсом. Тем важнее успех политического объединения Европы — эксперимента, который может стать примером для других регионов мира. В Азии, Латинской Америке, Африке и в арабском мире только намечаются подходы к политическому объединению на больших пространствах. Если эти пакты не обретают твердой, но все же демократической формы, то это означает, что нет коллективных акторов, которые в состоянии на транснациональном уровне найти пути к политическим компромиссам и реализовать их во всем мире.

На этом промежуточном уровне международные организации работают более или менее хорошо, пока они осуществляют функции координации. Но они не справляются с глобальными задачами формирования энергетической политики и политики в области окружающей среды, а прежде всего финансовой и хозяйственной политики, или потому, что отсутствует политическая воля, или потому, что Запад осуществляет свое право гегемона исклю-

* Гуманитарное развитие (*англ.*).

⁹⁹ «Если свободная торговля действительно является реальной практикой всего прогрессивного человечества, то она не может развиваться, не уделяя должного внимания беднейшим слоям населения слаборазвитых стран, беззащитных перед процессами начальной интеграции внешних рынков... В будущем это означает, что изменение политики должно быть направлено на обеспечение международной рыночной интеграции (в частности, рынков ценных бумаг), а также долгосрочных финансовых вложений в медицинское обслуживание, человеческий капитал и его материально-техническую базу, на совершенствование прозрачности, ответственности политических институтов. Поражает между тем незащищенность пространства действия законов в современных условиях» (*Held D. Global Covenant. The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus. Cambridge, 2004. P. 58*).

чительно в собственных интересах. Дэвид Хелд не ограничивается указанием на неравное распределение жизненных возможностей в мире, где 1,2 миллиарда людей тратят меньше чем один доллар в день на человека, 46% населения планеты живут меньше чем на два доллара в день, в то время как 20% населения потребляет 80% мирового дохода; он видит аналогичные несоответствия и во всех остальных показателях *«human development»**: «While free trade is an admirable objective for progressives in principle, it cannot be pursued without attention to the poorest in the least well-off countries who are extremely vulnerable to the initial phasing in of external market integration ... This will mean that development policies must be directed to ensure the sequencing of global market integration, particularly of capital markets, long-term investment in health care, human capital and physical infrastructure, and the development of transparent, accountable political institutions. But what is striking is that this range of policies has all too often not been pursued»⁹⁹.

Груз проблем, которые возникают в глобализирующемся обществе, будет усиливать чувствительность к растущей потребности в регулировании и к отсутствию приличной мировой внутренней политики на транснациональном уровне (посредине между национальным государством и ООН). Пока же отсутствуют акторы и методы для проведения системы переговоров, которые могли бы с боем взять такую мировую внутреннюю политику. Политически организованное мировое общество можно представить с реалистических позиций только как многоуровневую систему, которая останется несовершенной без такого промежуточного уровня.

III. Альтернативные видения нового мирового порядка

1. Разворот в политике США по вопросам международного права после 11 сентября?

США не нужно первым делом развивать свой всемирно-политический потенциал действия. Сверхдержава может уклониться от международно-правовых обязательств, не страшась чувствительных санкций. Вместе с тем проект всемирно-гражданского порядка без содействия (а возможно, и руководства) Соединенных Штатов должен потерпеть крах. США должны решить, принимают ли они международные правила игры, либо же им следу-

ет отбросить международное право или инструментализировать его, чтобы держать бразды правления в собственных руках. Решение правительства Буша отказаться признать международные трибуналы (так же поступили такие страны, как Китай, Ирак, Йемен, Катар и Ливия), тем более односторонне форсированный ввод войск в Ирак, как и попытка подорвать влияние и репутацию ООН, — все это, по-видимому, свидетельствует о развороте в американской политике относительно международного права. Правда, о «развороте» можно было бы говорить, если бы в 1990-е годы правительство США придерживалось противоположного курса.

Однако и в это время американская политика в области международного права не обнаруживает прямолинейного продолжения традиций интернационализма первых послевоенных лет. Как и после 1945 года, после окончания «холодной войны», США развернули примечательную международно-правовую активность. Они решали две задачи. С одной стороны, США приложили немало усилий для либерализации торговых отношений и финансовых рынков, способствовали превращению Всемирной организации по тарифам и торговле во Всемирную торговую организацию; много было сделано для защиты интеллектуальной собственности и т. д. Без американских инициатив вряд ли были бы реализованы многие важные инновации и в других сферах, — например, заключение конвенций о противопехотных минах и химическом оружии, расширение сферы действия Договора о нераспространении ядерного оружия, Римский устав Международного трибунала. С другой стороны, многие договоры, в особенности касающиеся таких областей, как контроль за вооружением, права человека, преследование международных преступников, охрана окружающей среды, американское правительство или не ратифицировало, или заранее отвергло (например, Конвенцию о противопехотных минах, Договор о запрете испытаний ядерных вооружений, о частных жалобах перед Комиссией [ООН] по правам человека, соглашения по морскому

¹⁰⁰ Hippler J., Schade J. US-Unilateralismus als Problem von internationaler Politik und Global Governance // INEF. Universität Duisburg. Heft 70. 2003. См. также: Beiträge zu Part VI Compliance // Byers M., Nolte G. United States Hegemony... а. а. О. S. 427–514.

¹⁰¹ См. рукопись Н. Кирша (выше примеч. 48).

¹⁰² См.: Roth B. R. Bending the law, breaking it, or developing it. The United States and the humanitarian use of force in the post-Cold War era // Byers M., Nolte G. United States Hegemony... а. а. О. P. 232–263.

праву, о защите растительных и животных видов и — одновременно с крахом конвенции по биологическому оружию и односторонней денонсацией Договора по ПРО — Киотский протокол). Если иметь в виду многосторонние договоренности, принятые Генеральной Ассамблеей, то процент ратифицированных США значительно ниже, чем у остальных стран Большой семерки¹⁰⁰.

Эти примеры, по-видимому, больше подходят к классическим образцам поведения имперской власти, которая уклоняется от выполнения норм международного права, поскольку они ограничивают ей простор для действий¹⁰¹. Даже гуманитарные интервенции и уполномоченное Советом Безопасности ООН или (как в случае военного вмешательства НАТО в Косово) по крайней мере в последующем легитимизированное применение силы не говорят о безусловном укреплении положения ООН. С позиций сверхдержавы, которая использует инструменты международно-правовой многосторонности (Multilateralismus) для реализации собственных интересов, такое развитие обретает сугубо амбивалентное значение¹⁰². Все, что в определенном контексте представляется прогрессом на пути конституционализации международного права, в другой перспективе видится как успешное осуществление имперского права.

Некоторые авторы хотели бы представить даже безусловно интернациональную политику США в области международного права после 1945 года как гегемониальную попытку расширить свой национальный правопорядок до глобальных масштабов, т. е. заменить международное право национальным правом: «America promoted internationalism and multilateralism for the rest of the world, not for itself»¹⁰³. С этих позиций даже политика Рузвельта и Вильсона, которая выстраивалась тем и другим как политика последовательно интернационалистская, ориентированная на создание трансатлантических альянсов, т. е. отворачивающаяся от изоляционизма «доктрины верховенства США» («*American — First — Doktrin*») и со временем превратившаяся в европейскую насильственную поли-

¹⁰⁰ «Америка поощряет интернационализм и утверждение принципа многостороннего экономического взаимодействия не для себя, а для всего остального мира» (Rubenfeld J. Two World Orders // Prospect. January 2004. P. 32–37; краткий вариант изложения позиции Рубенфельда см.: Rubenfeld J. Unilateralism and Constitutionalism // Nolte G. (Ed.). American and European Constitutionalism. Part IV (в печати).

* Договоры с иностранными государствами, втягивающими страну в акции, в которых она не заинтересована (англ.).

тику партнерства, даже она оказывается близкой политике унилатерализма, односторонности, проводимой Дж.В. Бушем. На первый взгляд Буш наследует одновременно обе традиции — идеализм миссионерской Америки и реализм Джефферсона, который предостерегал против *entangling alliances**. Этот президент [Буш] со спокойной совестью односторонне осуществляет национальные интересы в области геополитики и безопасности во имя этоса нового либерального миропорядка, потому что узнает в нем расширенные до мирового масштаба американские ценности. Но если глобализация собственного этоса (даже один-единственный раз) заменит право международного сообщества, то все, что *именуется* международным правом, отныне будет имперским правом.

Очевидные факты, на которые опирается критика американской политики в области международного права с 1989–1990 годов, вместе с тем не оправдывают поспешную конструкцию из ошибочно усмотренной непрерывности [американской политики]. В мировом обществе, с его неоднородностью, культурными различиями и несинхронностью, но под давлением систематической необходимости все более консолидирующемся, результаты в высшей степени асимметричного разделения властных ресурсов оказываются настолько неоднозначными, что было бы достойно удивления усмотреть в политических решениях сверхдержавы некую последовательность намерений. Предположим (вопреки фактам), что сверхдержава хочет быть лидером в процессах конституционализации международного права, способствовать реформе ООН и достижению (как цели) политически организованного мирового гражданского сообщества, правда, в созвучии с хорошо понятыми собственными интересами и при соблюдении установленных правил действия. Даже в этом идеальном случае за отдельными усилиями, направленными на поощряемое гегемоном придание международным отношениям правового статуса, нельзя тотчас разгадать, не продолжает ли за всем этим окапываться дальше асимметрия власти. Потому что и право гегемона все еще есть право. Доброжелательный и дальновидный гегемон, несомненно, удостоится похвалы историков, которые смогут наблюдать счастливое завершение трудного эксперимента. Современникам, которые испытывают на себе этот же самый процесс, не обладая знаниями будущих поколений, история покажется скорее амбивалентной мешаниной из

* «Курс страны не зависит от решений остальных держав» (англ.).

попыток, с одной стороны, конституционализировать, а с другой — инструментализировать международное право. Однако полный разворот от одного к другому смогут распознать уже и они.

Тот, кто *встраивает* унилатерализм правительства Буша в общий ход империалистической практики, недооценивает значение расставляющих цезуры изменений в политике. В сентябре 2002 года американский президент обнародовал новую доктрину безопасности, в которой он предусматривает для себя им же самим определенное и по собственному усмотрению применяемое право на нанесение превентивного военного удара (pre-emptive strike). В своей речи о положении нации 28 января 2003 года он торжественно заявил, что, если Совет Безопасности не согласится с военной акцией против Ирака, как бы ни была она обоснованна, он, в случае необходимости, не посчитается с запретом на насилие, зафиксированным в Уставе ООН («The course of this nation does not depend on the decisions of others»^{*}). Обе акции вместе представляют собой неслыханный разрыв с той правовой традицией, в значимости которой не сомневалось ни одно из предшествующих американских правительств. Они выражают пренебрежение к одному из замечательных цивилизаторских достижений человеческого рода. Выступления и поступки этого американского президента позволяют сделать только один вывод: цивилизующую силу универсалистской системы права он хотел бы *заменить* силой оружия американского этоса, претендующего на универсальность.

2. Изъяны гегемониального либерализма

Это возвращает меня к исходному вопросу: являются ли временная недееспособность и невысокая эффективность ООН достаточным основанием для того, чтобы отбросить все посылки проекта Канта [о всемирно-гражданском состоянии] в свете вызовов сегодняшнего дня? С окончанием «холодной войны» возник однополярный мировой порядок, в котором главенствующее положение занимает сверхдержава; конкурировать с ней в военном, технологическом и экономическом отношениях невозможно. Это нормативно нейтральный факт. Нормативное суждение вызывает определенная трактовка этого факта: например, высказывается предположение о неизбежном разрушении конструкции *Pax Americana*,

построенной не на праве, а на силе. То счастливое обстоятельство, что сверхдержава одновременно является и старейшей демократией, могло бы вдохновить к совсем другому представлению, чем гегемониальный унилатерализм, настроенный на распространение демократии и прав человека во всемирном масштабе. Несмотря на абстрактное совпадение целей, это видение (*Vision*) отличается от кантовского проекта всемирно-гражданского порядка в обоих отношениях — как в отношении пути, который должен привести к обозначенным выше целям, так и в отношении конкретной формы, в которой эти цели должны реализоваться.

Что касается пути, то этически обоснованный унилатерализм уже не привязан к общепринятой международно-правовой практике. А относительно конкретной формы нового мирового порядка можно сказать, что гегемониальный либерализм не стремится к созданию правового, политически институционализованного мирового общества, а нацелен на создание международного порядка, предполагающего существование формально независимых либеральных государств. Они будут находиться под патронажем сверхдержавы, обеспечивающей «состояние мира», а с другой стороны, встроены в контекст разгосударственного мирового общества и повинуются императивам полностью либерализованного мирового рынка. Согласно такой конструкции, «состояние мира» обеспечивается не правом, а имперской властью, силой; мировое общество интегрируется не в ходе создания политической общности граждан мира, а в пространстве системных отношений, в конечном счете — в пространстве рынка. В пользу этого видения нет ни эмпирических, ни нормативных оснований.

Если угрозу международного терроризма воспринимать всерьез, то очевидно, что ее нельзя эффективно преодолеть классическими средствами войны между государствами; не годится для этого и военное превосходство единолично опережающей всех сверхдержавы. Логистике противника следует противопоставить эффективное переплетение служб безопасности, полиции и уголовного преследования; и только сочетание социального обновления и самокритичного взаимопонимания между культурами позволит добраться до корней терроризма. Эти средства скорее находятся в распоряжении международного сообщества, организованного по принципу кооперации и с помощью горизонталь-

* Наилучшая перспектива в развитии событий (*англ.*).

ных правовых связей, чем гегемониального унилатерализма мировой державы, пренебрегающей международным правом. Модель однополярного мира, построенная на асимметричном разделении политической власти, не учитывает того обстоятельства, что мировое общество децентрализовано не только экономически, поэтому множеством сложных процессов, в нем происходящих, больше нельзя управлять из одного центра. Конфликты между культурами и мировыми религиями так же мало можно погасить, прибегая исключительно к военным средствам, как кризисы на мировых рынках — исключительно политическими средствами.

Гегемониальный либерализм уходит со сцены; но причины его ухода не носят нормативного характера. Даже если мы будем исходить из *best-case scenario** и припишем гегемониальной власти наилучшие намерения, а ее носителей причислим к наиинтеллигентнейшим и умнейшим политикам, понятие «доброжелательного гегемона» связано с непреодолимыми когнитивными трудностями. Правительство, которое обязано в собственной режиссуре принимать решения по таким вопросам, как самозащита, гуманитарные интервенции или создание международных трибуналов, вряд ли будет осмотрительно продвигаться вперед. При неизбежном взвешивании благ оно вряд ли будет абсолютно уверено в том, что отличает собственные национальные интересы от тех всеобщих, обобщаемых интересов, которые могли бы разделять и другие нации. Эта невозможность «быть абсолютно уверенным» составляет проблему для логики практического дискурса, но не для доброй воли. Любое произведенное одной стороной предвосхищение того, что с точки зрения рациональности устраивает все стороны, можно проверить только тем, что предположительно непредвзятое предложение будет подвергнуто дискурсивному воздействию методов формирования мнения и воли.

«Дискурсивные» практики делают эгалитарные решения зависимыми от исходной аргументации (при этом признаются только справедливые решения); они предполагают, кроме того, включенность (т. е. все заинтересованные стороны принимают участие в обсуждении); они принуждают участников к взаимному принятию перспектив, намеченных каждой из сторон (так что

¹⁰⁴ *Habermas, J.* Replik auf Beiträge zu einem Symposium der Cardozo Law School // ders. Die Einbeziehung des Anderen. a. a. O. S. 309–398.

возможно честное взвешивание всех затронутых интересов). В этом и заключается когнитивный смысл практик, нацеленных на беспристрастный поиск решения. В таком контексте этическое обоснование односторонних действий ссылками на мнимо универсальные ценности собственной политической культуры изначально непригодно¹⁰⁴.

Этот недостаток вряд ли может быть компенсирован благодаря демократическому характеру внутренней организации гегемониальной власти. Дело в том, что когнитивно граждане сталкиваются с теми же проблемами, что и их правительство. Граждане одной политической общности вряд ли смогут предвидеть результаты интерпретации и применения всеобщих принципов и ценностей, которым отдают предпочтение граждане другой политической общности, исходя из своего локального поля зрения и своего культурного контекста. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то демократическая организация сверхдержавы непременно окажет влияние. Граждане, принадлежащие к общности либерального типа, остаются чувствительными (на более или менее долгий период) к когнитивным диссонансам, которые возникают, если универсалистские устремления не совпадают с партикулярной природой явно главенствующих интересов.

3. Неолиберальная и постмарксистская конструкции

Конечно, гегемониальный либерализм не является единственной альтернативой кантовскому проекту. В заключение я хотел бы проанализировать еще три видения перспективы, у которых сегодня есть немало сторонников. Это:

- неолиберальная конструкция (о ней уже говорилось выше) «общества всемирного рынка», в пространстве которого государства исчезают;
- постмарксистский сценарий рассредоточенной (*zerstreuten*) империи без центра власти;
- антикантовский проект «порядков большого пространства»; несоизмеримые жизненные формы полемически утверждаются в нем друг против друга.

¹⁰⁵ *Guehenno J.V. Das Ende der Demokratie. München und Zürich, 1994.*

Неолиберальная конструкция общества мирового рынка принимает в расчет маргинализацию государства и политики. Для политики функции «ночного сторожа», которые сохраняет за собой государство, становятся излишними¹⁰⁵, в то время как международное право, не привязанное к политике государств, превращается в порядок частного права, который распространяется на мир в целом; в рамках этого порядка и происходит институционализация глобализированных рыночных взаимодействий. Господство законов, которые «сами себя реализуют», не требует больше санкционирования со стороны государства, потому что успехи в координации, достигнутые мировым рынком, позволяют осуществлять интеграцию мирового общества на предгосударственном (*vorstaatlichen*) уровне. Государства-маргиналы могут создать еще одну функциональную систему (наряду с уже существующими), потому что обособление и деполитизация граждан делают ненужными такие функции общества, как ассимиляция в общность, формирование гражданственно-государственной идентичности и др. Глобальный режим прав человека ограничивается утверждением негативных свобод граждан, которые получают «непосредственный» статус, определенным образом связанный со структурами мирового рынка¹⁰⁶.

Это видение перспективы, которое в 1990-е годы было *en vogue**, затем оказалось потесненным и возвращением к идеям

¹⁰⁶ «As international law expands from a doctrine of state relations to a regime of individual rights, it poses a direct challenge to the traditional, political self-conception of the nation-state. Human rights law imagines a world of depoliticised individual, i. e. individuals whose identity and rights precede their political identifications. Similarly, the international law of commerce imagines a single, global market order in which political divisions are irrelevant. In both the domain of rights and commerce, the state is reduced to a means, not an end». [«Когда международное право распространяется с взаимоотношений между государствами на права граждан, это бросает вызов традиционной и политической концепции государства-нации. С точки зрения закона о защите прав человека мир представляет собой совокупность деполитизированных индивидов, т. е. таких индивидов, чья идентичность и права стоят выше государственной идентичности. Вместе с тем с точки зрения международного торгового права считается, что политические институты бессильны в отношении установления порядка на едином мировом рынке. И в сфере прав, и в сфере торговли механизм государственного воздействия ограничен, хотя до конца не исчерпан.]. (Kahn P.W. American Hegemony... а. а. О. Р. 5.)

* Широко известно, в моде (*фр.*).

Гоббса о роли государства в деле обеспечения безопасности граждан, и взрывной силой политически объединяющих религий. Образ неополитического общества мирового рынка не годится сегодня для характеристики политической сцены мира, на которую вышел международный терроризм, а религиозный фундаментализм возвращает к жизни забытые политические категории: «ось зла» тоже превращает противников во врагов. «Прекрасный новый мир» неолиберализма был обесценен не только эмпирически; с самого начала эта конструкция была слабой и с нормативной точки зрения. Она лишает конкретного, единичного человека его государственно-гражданской автономии и отпускает в пространство бесконечно сложных взаимосвязей происходящего. Субъективные свободы, которыми обладает субъект частного права, — это только нити, на которых, как кукла-марионетка, болтается автономный «гражданин общества».

Постмарксистский сценарий имперской, империалистической власти, рассредоточенной и лишенной единого центра, высвечивает ту оборотную сторону неолиберального проекта, которая позволяет критиковать глобализацию. Как и неолиберальный, постмарксистский проект расстается с классическим образом политической власти, но он не принимает неолиберального антипода глобального мира — общество, в котором победила суетность частного права. Частноправовые отношения, освобожденные от связей с государством, имеют значение только как идеологическое выражение анонимной динамики власти, которая в анархическом миро-

¹⁰⁷ *Hardt M., Negri A. Empire.* Harvard, 2002.

¹⁰⁸ «Instead of making room for only a few non-governmental decision makers, I am tempted by the larger vision of Hardt and Negri that the world is in transit toward what they, borrowing from Michel Foucault, call a biopolitical Empire, an Empire that has no capital, that is ruled from no one spot but that is equally binding on Washington and Karachi, and all of us. In this image, there are no interests that arise from States — only interest-positions that are dictated by an impersonal, globally effective economic and cultural logic». [«В отличие от частных мнений небольшой неправительственной команды, принимающей решения, мне импонирует обобщенная позиция М. Хардта и А. Негри, которые считают, что мир находится в стадии перехода к «биополитической империи», как они ее называют вслед за Мишелем Фуко. У этой империи нет столицы, ею никто не управляет, но вместе с тем она связана с Вашингтоном и Карачи и с каждым из нас. Такое устройство мира отвечает интересам не какого-либо конкретного государства, а общим интересам, соответствующим логике эффективного развития экономики и культуры в мировом масштабе».] (*Koskenniemi M. Comments in Chapters 1 and 2 // Byers M., Nolte G. United States Hegemony... a. a.*

вом обществе лишь усиливает раскол, возникающий между манипулирующим и эксплуатирующим центром и истекающей кровью периферией. Глобальная динамика не зависит от межгосударственного взаимодействия, ей присуща системная самостоятельность; однако она переходит не только на экономику¹⁰⁷. Место экономических движущих сил самого себя использующего капитала занимает сила, неопределенная в своей экспрессивности; эта сила в равной мере пронизывает и базис, и надстройку; она выражается как в культурном, так и в экономическом и военном насилии¹⁰⁸. В локальном характере рассеянного сопротивления [этой силе] свой отголосок находит и процесс децентрализации власти.

Этот проект не отличается концептуальной четкостью; его жизненность определяется очевидными реалиями — исчезновением дифференциации между формами государственной власти в результате процессов глобализации, которые в условиях мирового общества, связанного сетями медийных коммуникаций и все сильнее интегрирующегося экономически, углубляют социальное неравенство и культурную фрагментарность. Это достаточно умозрительная позиция, и, как бы мы ни оценивали ее плодотворность в рамках социальных наук, она мало что может дать для диагноза будущего, которое ждет международное право; дело в том, что уже на уровне базовых понятий она отрицает нормативный смысл правового инструментария¹⁰⁹. Однако своеобразную диалектику истории международного права нельзя расшифровать, опираясь на концепцию права, лишённого всех признаков формы. За эгалитарно-индивидуалистическим универсализмом прав человека и демократии мы должны признать некую «логику», которая взаимодействует с динамикой власти.

На протяжении всей своей жизни Карл Шмитт критиковал универсалистские предпосылки проекта Канта [о всемирно-гражданском состоянии]. Его критика международного права и сегодня интересна специалистам, которые, следуя установкам контекстуализма, отрицают главенство справедливости над благом. Она привлекает внимание и тех, кто, отталкиваясь от аргументов критики разума, подозревают, что любой универсалистский дискурс является всего лишь прикрытием для частных интересов. В свете такого морально-

¹⁰⁹ В другом фрагменте М.Коскенниemi, используя осторожную формулировку «культура формализма», в полной мере учитывает роль нормативности права. См.: *Koskeniemi M. The Gentle... a. a. O. P. 494–497.*

го нонкогнитивизма диагноз Шмитта можно рассматривать как объяснение таких актуальных тенденций, как «разгосударствление» политики и формирование больших культурных пространств.

4. Кант или Карл Шмитт?

В области международного права К. Шмитт развивал два базовых для его концепции аргумента. Первый был направлен против «дискриминирующего представления о войне», а также против тенденции осмысливать международные отношения как исключительно правовые. С помощью второго аргумента — о замене государств [в пространстве мировой политики] большими «территориями», организованными по имперскому (imperial) принципу, — он хотел спасти мнимое преимущество классического международного права, «снимая» [в гегелевском смысле] европейскую систему межгосударственных отношений.

Защищая легитимность войны с точки зрения международного права, Шмитт выражает свое отношение, во-первых, к идее о создании Лиги Наций и к пакту Бриана–Келлога, во-вторых, к поднятому Версальским мирным договором вопросу об ответственности за войну. Потому что, только если война дискриминирована с позиций международного права, можно признать «виновным» правительство, которое вело эту войну. Шмитт оправдывает принципиальную презумпцию невиновности в классическом международном праве на том основании, что моральные оценки противника отравляют международные отношения и интенсифицируют войны. Вильсоновскую политику Лиги Наций, направленную на достижение универсалистского идеала мира, Шмитт считает ответственной за то, что «различение между справедливыми и несправедливыми войнами порождает все более глубокое и все обостряющееся, все более «тотальное» различие — между другом и врагом»¹¹⁰.

Любая из концепций справедливости оказывается проблема-

¹¹⁰ Schmitt C. Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff. Berlin, 1988(1938). S. 50.

¹¹¹ Schmitt C. Das internationalrechtliche Verbrechen des Angriffskrieges (hg. von H. Quaritsch). Berlin, 1994.

* Жестокости (англ.).

¹¹² Schmitt C. Das internationalrechtliche Verbrechen des Angriffskrieges. a. a. O. S. 16.

тичной с позиций интернационализма, следовательно, между нациями не могут складываться отношения справедливости. Это суждение основывается на предположении, согласно которому нормативные оправдания в международных отношениях могут быть лишь камуфляжем для чьих-то собственных интересов. Морализирующая сторона добивается преимущества посредством некорректной дискриминации противника; отрицая за врагом статус уважаемого врага, *justus hostis*, она формирует асимметричное отношение между как таковыми равными сторонами. Еще хуже, если морализирование вокруг войны, которая до тех пор рассматривалась с индифферентных позиций, подогревает конфликт и цивилизованное (с точки зрения права) ведение войны «вырождается». После Второй мировой войны Шмитт еще раз и более остро сформулировал свои аргументы в юридическом заключении, предназначенном для защиты Фридриха Флика во время Нюрнбергского процесса¹¹¹: очевидно, что «*atrocities*»* тотальной войны¹¹² не могут поколебать его уверенности в невинности субъектов международного права.

Разумеется, жалоба относительно «морализирования» войны не находит отклика, пока презрение к войне рассматривается как шаг к обретению международными отношениями статуса правовых. Намерение [Шмитта] состояло в том, чтобы различие между справедливыми и несправедливыми войнами, обоснованное материально, или исходя из естественного права, или религиозно, подменить процессуально-правовым различием войн законных и незаконных. При этом законные войны приобретают смысл мировых полицейских акций. После создания Международного суда ООН и кодификации соответствующих преступлений позитивное право могло бы найти применение и на этом международном уровне, и под защитой уголовно-процессуального кодекса можно было бы защитить обвиняемого от предварительного морального осуждения¹¹³. Дискуссии в Совете Безопасности вокруг фактов, доказывающих или опровергающих наличие у Ирака орудия массового уничтожения, о самой возможности продолжить проверку

¹¹³ Günther K. «Kampf gegen das Böse?» // Kritische Justiz 27. 1994. S. 135–157.

¹¹⁴ Я могу не затрагивать здесь вопроса о когнитивизме в этике; об этом см.: Habermas J. Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt a. M., 1991.

¹¹⁵ Mehring R. (Hrsg.). Ein kooperativer Kommentar zu Carl Schmitt «Der Begriff des Politischen». Berlin, 2003.

этих фактов показали, какие функции выполняет практика в дискуссиях о войне и мире.

С точки зрения Шмитта, легальный пацифизм закона неизбежно ведет к тому, что насилие теряет сдерживающее начало, потому что эта установка молчаливо предполагает, что *любая* попытка обуздать военное насилие при помощи права должна потерпеть неудачу в силу несоизмеримости самих представлений о справедливости. Конкурирующие между собой государства или нации не могут объединиться на базе признания той или иной концепции справедливости — тем более на базе либеральных понятий о демократии и правах человека. В любом случае Шмитт несет ответственность за этот тезис — независимо от его философского обоснования¹¹⁴. Вместо этого нонкогнитивизм Шмитта основывается на экзистенциалистском «понятии политического»¹¹⁵. Шмитт убежден, что существует неразрешимое противоречие между нациями, достигшими стадии зрелости и готовыми к насилию; в борьбе друг с другом они утверждают свою коллективную идентичность. В этом измерении самоутверждение понятия «политическое», всегда нагруженного химерами насилия, — и когда первоначально определяется Шмиттом с позиций национальной государственности, и когда характеризуется с точки зрения «народа и национальности», и, наконец, когда трактуется с неопределенных позиций философии жизни, — обосновывает в известной степени социально-онтологическую противоположность кантовской концепции правовой институционализации политического насилия. Шмитт отрицает одну из функций универсализма кантовского учения о праве — функцию рационализации господства, которую принимает на себя конституция как в рамках национального государства, так и за его пределами.

Для Шмитта непроницаемое иррациональное ядро бюрократического насилия исполнительной власти государства и есть местоположение «политического». Процесс обуздания насилия средствами государственного права должен остановиться перед этим ядром, потому что в противном случае государству как субстанции «чистого самоутверждения» против внешних и внутренних врагов можно нанести ущерб¹¹⁶. Идею государства, которое «укрывается за спи-

¹¹⁶ См.: *Schönberger Chr. Der Begriff des Staates im Begriff des Politischen // Mehring R. Ein kooperativer Kommentar...* а. а. О. S. 21; см. также: *Brunkhorst H. Der lange Schatten des Staatswillenspositivismus // Leviathan. 31. Jg. H. 3. 2003. S. 360–363.*

¹¹⁷ *Schönberger Chr. // Mehring R. Ein kooperativer Kommentar...* а. а. О. S. 41.

ной права», Шмитт унаследовал от сторонников «позитивизма государственной воли» кайзеровской Германии, направленного против парламентаризма; благодаря его ученикам, она продолжает оказывать влияние на учение о государственном праве в ФРГ. Сам Шмитт уже в 1930-е годы отделил свое экспрессивно-динамическое понятие «политическое» от государства. Сначала он перенес его на характеристику мобилизованного «народа», т. е. на нацию, приведенную в движение фашизмом, а впоследствии он распространил это понятие также на участников партизанской борьбы, гражданских войн, освободительных движений и т. д. Сегодня, возможно, Шмитт использовал бы его и для характеристики групп террористов-фанатиков, практикующих самоубийство при осуществлении своих акций. «Шмитт, выразительно защищая «политическое» как некий мир человеческих объединений, которые могут потребовать от своих членов быть готовыми к смерти, в конечном счете ведет речь о принципиальной моральной критике мира, в котором нет трансценденции и экзистенциально серьезного, где господствует «динамика вечной конкуренции и вечной дискуссии», а также «массовая вера в антирелигиозный посюсторонний активизм»¹¹⁷.

Уже в 1938 году, во втором издании своей работы «О дискриминирующем понятии войны» Шмитт дистанцируется от консервативной трактовки своей критики международно-правового запрета на насилие. Поэтому он осудил поворот к «тотальной войне», которую рассматривал как следствие гуманного отказа от войны вообще. Шмитт отверг возврат воюющих государств к установкам классического международного права, как реакционный: «Таким образом, наша критика не направлена против идеи фундаментального нового порядка»¹¹⁸. Во время войны, в 1941 году, Шмитт, уже имея в виду экспансию германского рейха в Восточную Европу, развивает концепцию международного права, во многом повторяющую первоначальные подходы и имеющую последовательно фашистскую направленность¹¹⁹ (правда, после окончания войны она была спешно денацифицирована¹²⁰). На вооружение берется идея «политического», как оно существует вне

¹¹⁸ *Schmitt C. Die Wendung...* a. a. O. S.53.

¹¹⁹ *Schmitt C. Völkerrechtliche Grossraumordnung*, Berlin, 1991 (1941).

¹²⁰ *Schmitt C. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europäum*, Berlin, 1997 (1950).

¹²¹ *Schmitt C. Völkerrechtliche Grossraumordnung*, a. a. O. S. 34.

рамок государства, и в качестве контрмеры развивается проект «порядка больших пространств», который должен был опять придать авторитарную форму политическим энергиям, которые так опасно растрачиваются.

Шмитт выбирает в качестве модели доктрину Монро (1823), но переосмысливает ее в соответствии с собственными аргументами: теперь это модель для международно-правовой конструкции, в которой весь мир территориально поделен на «большие пространства», а последние отгорожены от вторжения «сил, чужих для этих пространств». «Первоначальный политический смысл учения Монро состоял в том, чтобы, исключая [саму возможность] интервенции со стороны сил, «внешних» для данного пространства, защитить новую политическую идею от тогдашних сил, поддерживающих законность *status quo*»¹²¹. Демаркационные линии, установленные с позиций международного права, разделили «суверенные пространства» (*Hoheitsräume*), которые следует воспринимать не как области государств, а как «сферы влияния», находящиеся под господством имперских властей, а также в зоне излучения их политических идей. «Империи» (*Reiche*) организованы по иерархическому принципу. На их территориях зависимые нации и народы подчиняются авторитету «прирожденной» для руководства силы, которая обрела преимущественное положение благодаря своим историческим достижениям. Ранг субъекта международного права не упал к ним с неба: «Не все народы в состоянии выдержать проверку успехами в деле создания добротного современного государственного аппарата, и очень немногим по плечу современная материальная конкуренция-война (*Krieg*) на основе собственного организаторского, промышленного и технического потенциала»¹²².

Международно-правовой «порядок большого пространства» распространяет принцип невмешательства на сферы влияния великих держав, которые взаимно утверждают суверенность собственной культуры и форм жизни, а в случае необходимости прибегают и к военному насилию. Понятие «политическое» снимается присущей имперским державам способностью к самоутверждению и «излучению»; с помощью своих идей, ценностей и национальных жизненных форм они формируют идентичность большого пространства. Концепции справедливости в этом контексте

¹²² *Schmitt C. Völkerrechtliche Grossraumordnung*, а. а. О. S. 59.

¹²³ *Ibid.* S. 56.

оказываются по-прежнему несоизмеримыми. Как когда-то классическое международное право, новый международно-правовой порядок столь же мало находит себе гарантию «в каких-то содержательных размышлениях о справедливости, а также не в международном правовом сознании», но в «равновесии сил»¹²³.

Я отвел место этому международно-правовому проекту «порядка больших пространств», первоначально ориентированному на «Третий рейх», потому что он мог бы получить фатальную поддержку со стороны духа времени. Он отвечает тенденциям к разгосударствлению политики; однако, в отличие от неолиберальных и постмарксистских конструкций, в нем не отрицается реальная роль политических общностей и дееспособных правительств. Проект предвосхищает установление континентального режима, которому и в проекте Канта отводится важная роль. Однако сами «большие пространства» наделены в этой конструкции коннотациями, соприкасающимися с идеей «борьбы культур». Используется экспрессивно-динамическое понятие власти, которое вошло и в постмодернистские теории. Кроме того, данный проект корреспондируется с широко распространенным скепсисом по отношению к возможности межкультурного согласования универсально приемлемых трактовок прав человека и демократии.

Если исходить из того, что эта скептическая установка, безусловно, имеет эмпирические точки опоры в приметах новых дискуссий по проблемам культуры, но не фундирована с точки зрения философии, то модернизированная теория «большого пространства» оказывается не совсем невероятным контрпроектом по отношению к однополярному мировому порядку гегемониального либерализма. Рожденный уже у Шмитта из ressentimentа против западного модерна, он остается, однако, совершенно слепым по отношению к тем богатым последствиями идеям самосознания, самоопределения и самоосуществления, которые и сегодня по-прежнему определяют нормативное самопонимание современности (Moderne).

Издательство «Весь Мир»

Вышла в свет

Бриггс Э., Клэвин П.

**История Европы в трех кн. Кн. 3.
Европа нового и новейшего времени.
С 1789 года и до наших дней.**

Пер. с англ.

Завершающая книга трехтомной истории Европы написана в соавторстве известным британским историком лордом Эйзой Бриггс и преподавателем Оксфордского университета Патрицией Клэвин. Этот том охватывает события со времен Великой французской революции конца XVIII в. и до начала XXI в. В книге дан общий обзор тенденций, характерных для Европы в целом, который удачно сочетается с конкретным рассмотрением отдельных стран и регионов. Авторы уделяют большое внимание России и ее роли в европейской истории. Как и первые две книги трехтомника, последний том пользуется большой популярностью читателей в разных странах мира.

Книги Издательства «Весь Мир» представлены во всех крупнейших магазинах. Их адреса вы найдете на сайте издательства www.vesmirbooks.ru, где можно ознакомиться с каталогом и сделать заказ на книги.

Наш адрес: 101000, Москва, Колпачный пер., 9а,
тел.: (495) 623-68-39, 623-85-68, факс: (495) 625-42-69.
Электронная почта: orders@vesmirbooks.ru

Издательство «Весь Мир»

Готовится к печати

Бродель Ф.

Грамматика цивилизаций

Пер. с фр.

Работа выдающегося историка Фернана Броделя, крупнейшего представителя французской исторической школы Анналов, посвящена развитию цивилизаций Запада и Востока. На русском языке книга публикуется впервые. «Грамматика цивилизаций» была написана в 1963 г. и задумывалась автором как учебник для системы среднего образования во Франции. Однако для учебника она оказалась слишком сложна, зато была с огромным интересом встречена научной общественностью, свидетельством чего стали переводы ее на многие языки. В отличие от других фундаментальных исследований Броделя, она написана в более доступной форме, что облегчает восприятие концепции автора не только специалистами, но и широкой читательской аудиторией. Рекомендуется также преподавателям истории всех уровней образования.

Книги Издательства «Весь Мир» представлены во всех крупнейших магазинах. Их адреса вы найдете на сайте издательства www.vesmirbooks.ru, где можно ознакомиться с каталогом и сделать заказ на книги.

Наш адрес: 101000, Москва, Колпачный пер., 9а,
тел.: (495) 623-68-39, 623-85-68, факс: (495) 625-42-69.
Электронная почта: orders@vesmirbooks.ru

Издательство «Весь Мир»

Вышла в свет

История Дании

Пер. с датск.

История Дании, охватывающая огромный период времени — со времен викингов и до начала XXI в. — написана ведущими датскими историками. На русском языке публикуется впервые. Выход книги в свет обещает стать событием в отечественной историографии. Россию и Данию связывают века взаимоотношений и многие людские судьбы, стоит вспомнить имена Витуса Беринга, императрицы Марии Федоровны и многие другие. И нельзя забывать, что царь Петр именно в союзе с Данией прорубал «окно в Европу». В то же время история Дании — когда-то великой европейской державы — в современной России известна мало. Книга, выходящая в свет в серии «Национальная история», устраняет этот пробел. В ней рассмотрены основные этапы становления датской государственности и гражданского общества, проблемы социально-экономического развития, различные аспекты внешней политики. Книга адресована всем, кто изучает и преподаёт европейскую историю.

Книги Издательства «Весь Мир» представлены во всех крупнейших магазинах. Их адреса вы найдете на сайте издательства www.vesmirbooks.ru, где можно ознакомиться с каталогом и сделать заказ на книги.

Наш адрес: 101000, Москва, Колпачный пер., 9а,
тел.: (495) 623-68-39, 623-85-68, факс: (495) 625-42-69.
Электронная почта: orders@vesmirbooks.ru

Издательство «Весь Мир»

Готовится к печати

История Великобритании

Пер. с англ.

Оксфордская «История Великобритании», написанная британскими авторами во главе с выдающимся историком Кеннетом Морганом, относится к числу блестящих образцов современной историографии. В одном, хотя и объемном томе, изложена история страны и ее народа от прихода римлян до начала XXI в. Перевод этой книги был неслучайно включен в серию «Национальная история». Масштабное исследование выполнено на самом высоком научном уровне, позволяющем рассеять множество мифов, среди которых такие, как «анархия» середины XII столетия, хаос периода Войны Роз, неизбежность гражданской войны XVII в., статичность викторианской эпохи. Увлекательное изложение удовлетворит вкусы не только профессиональных историков и учащейся молодежи, но и самого широкого круга читателя.

Книги Издательства «Весь Мир» представлены во всех крупнейших магазинах. Их адреса вы найдете на сайте издательства www.vesmirbooks.ru, где можно ознакомиться с каталогом и сделать заказ на книги.

Наш адрес: 101000, Москва, Колпачный пер., 9а,
тел.: (495) 623-68-39, 623-85-68, факс: (495) 625-42-69.
Электронная почта: orders@vesmirbooks.ru

Юрген Хабермас

Расколотый Запад

Редактор: *М.М. Беляев*
Младший редактор: *Ю.Л. Михайлова*
Художник: *Е.А. Ильин*
Верстка: *Е.А. Поташевская*
Корректор: *Е.Н. Горбунова*

Подписано в печать 25.12.2007
Формат 60 x 88 ¹/₁₆ Печ. л. 12,0. Тираж 3000 экз.
Изд. № 33/05-и
Заказ №

ООО Издательство «Весь Мир»
101000 Москва-Центр, Колпачный пер., 9а
Тел.: (495) 623-68-39, 623-85-68
факс (495) 625-42-69
E-mail: orders@vesmirbooks.ru;
<http://www.vesmirbooks.ru>

ОАО «Издательство «Самарский Дом печати»
443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 201

ISBN 978-5-7777-0400-9



9 78 5 777 704009

